
Светлана РОЗЕНФЕЛЬД

ЭКВИЛИБР НА ПРОВОЛОКЕ

Роман

ЧАСТЬ 1. «ГВОЗДЬ»

Глава 1

Он стоял перед матерью, вытянувшись в струнку, прижимая одну руку к порванному карману, а другой пытаясь прикрыть болтающийся на груди клочок пальто, и смотрел в пол, где от мокрых ботинок уже натекла грязная лужа. Свалывшаяся шапка, которую он забыл снять, противно холодила голову. Мать стояла в отдалении, опершись рукой на швабру, которой она только что, перед его приходом, приводила в порядок прихожую. Лицо ее было спокойным, даже чересчур спокойным, и он уже знал, что это означает: мышцы как будто готовились, накапливали силы, чтобы через несколько мгновений одновременно включиться в работу, и тогда лицо, от волос до шеи, превратится в крик, страшнее которого ничего на свете не бывает. Он ждал этого крика, автоматически размазывая ногой лужу на чистом полу.

— Ну что, паразит? — началось, подумал он. — Явился? Я-ви-и-л-ся?! Где шлялся? — швабра с громким стуком упала на пол, и кричащее лицо тут же приблизилось. — С кем дрался, скотина?!

— Я не дрался, — пропищал он, продолжая размазывать лужу.

— Ах, не дрался! — кричало лицо. — А карман где порвал?! — она рванула ткань, и карман повис на нитке. — А это что? — вырванный клочок пальто полетел на пол. — А ботинки? А шапка? А морда твоя красная?! Ах ты, сволочь неблагодарная, да я ж всю душу из тебя вытрясу, да ты ж у меня...

Она никогда его не била, только угрожала, он и не боялся, что побьет, но чувствовал, что от оглушительного крика впадает в транс, словно уплывает куда-то, и это дает ему возможность перетерпеть. Крик был похож на боль, от которой человек может потерять сознание. Болевой шок. Главное, выжить. Шок, транс... Он уже плохо осознавал себя и вдруг произнес словно во сне, в бреду:

— Ты лучше скажи, почему хотела меня сдать в Дом малютки. Да еще в другом городе...

Стало тихо, словно выключили радиоточку.

— Что-о-о? — чуть слышно прошептали ее губы.

— То, что слышала, — спокойно, из глубины транс, произнес он и, медленно скинув пальто и шапку, поплелся в свою комнату, накинул крючок изнутри двери, прямо

Светлана Владимировна Розенфельд — петербургский поэт и прозаик, автор пятнадцати книг стихов и прозы и многочисленных публикаций в периодической печати. Член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей. Окончила Ленинградский технологический институт им. Ленсовета. Родилась в Ленинграде.

в мокрых ботинках свалился на диван и упал в короткий сон. Его разбудило подергивание двери и скрип крючка, он и спал-то всего несколько минут и, когда пошел открывать, все еще чувствовал слабость и легкое головокружение.

— Что ж ты в мокрых ботинках разгуливаешь, грязь разводишь? — уже спокойно спросила мать.

«Лучше бы сказала: простудишься», — подумал он, но это уже не важно, главное, крик иссяк.

Он снял ботинки, поставил у батареи, стащил носки, надел сухие. Она все это время молча стояла у двери, потом присела на стул.

— С чего ты взял?

— Что?

— Насчет Дома малютки.

— Не знаю, я так просто сказал. Ляпнул. А что — было дело?

— Не то что было. Ну, подумала однажды. Хилый ты был, беспокойный. А папаша к крале своей ушел, денег нет, комната в общежитии, крыша в дырках. Весь пол тазами уставлен, и стены трещат. Как жить дальше? Вот и подумала...

— А почему в другой город?

— Чтобы от сердца подальше.

— И что ж передумала?

— Квартиру дали. А чего хорошего? Вот это самое жилье и предложили: мол, малонаселенная квартира, да еще две комнаты получишь, раз у тебя сын, разнополые то есть. А знаешь, как такая малонаселенная квартира в новом доме называется? Жилье с подселенцем. Потому что это должна была быть отдельная квартира, только нищенкам, вроде меня, такая благодать не позволена, вот и сделали коммуналку, подсунули подселенца в третью комнату. Бабку Зину. Так лучше бы десять семей вместе поселить, чем одного подселенца. Хуже нет, жить в коммуналке один на один, без свидетелей. Сколько я от этой Зины натерпелась! Вот помрет, другую поделят или мужика пьющего. А нет бы всю квартиру нам отдать. Кукиш с маслом... Ну, а тогда, когда дали жилье, конечно, счастье было большое. Вот и передумала я отдавать тебя. Только ты-то откуда это можешь знать? Да еще про другой город. Я ж такими мыслями ни с кем не делилась.

— Да говорю же: просто так ляпнул.

— А дрался почему?

— Я не дрался.

Генка не дрался. Он вообще не дрался. Не потому, что не умел или не хотел. Еще как умел да и хотел не раз. Но в драку не лез. Он не боялся, что избыют, когда его охватывала ярость, он чувствовал в себе богатырскую силу, возможно, мог и убить. Но он боялся унижения. В свои двенадцать лет он был мелким, хилым и каким-то узким, тонким, тело без изгибов, как глиняный человечек, которого вылепили в формачке целиком: ноги-палочки, длинные руки, прижатые к телу, плавно переходящему в приплюснутую на макушке головку. Он представлял себе, как кинется в драку, а пацаны будут тесниться вокруг и ржать: «Ишь Гвоздик, шас всех уokoшит! Силища!» Они не знали, какой он сильный на самом деле, потому что он не дрался, страшился насмешек.

Они еще многого о нем не знали, хотя кличка «Гвоздик», данная ему в раннем детстве за внешнее сходство, со временем превратилась в «Гвоздь», а здесь уже прослеживался некий подтекст, некий намек на характер, что-то неясное, но неприятное: острый такой, ржавый гвоздь, влезет — клещами не отодрать. И друзей у него не было, сторонились как-то, да и не очень они были ему нужны, только бы не унижали. Потому и не дрался.

И пришел он домой в тот раз в порванном пальто, грязный и мокрый не после драки, а потому что «шлялся незнамо где» — так мать говорила и хорошо знала эту его привычку не бежать домой после школы, уроки учить, как приличные люди, а болтаться с неизвестными целями, от которых хлопот не меньше, чем от драк. Он все время что-то вытворял. Мать специально отдала Генке маленькую комнату, а сама осталась в проходной, чтобы когда была дома, следить за ним, не выпускать на улицу, хватать вовремя за руку и удерживать от глупостей. Какое там! Если работаешь в магазине в смену, разве уследишь? И вот пожалуйста: то деньги из комода спер, а что купил — неведомо, то целый батон извел на корм диким уткам в пруду за домом, то на лестнице одеколон поджег, то портфель потерял, то вообще в школу не попал, утром ушел, да за партой не появился. От учителей жалобы на какое-то плохое поведение, а чем плохое — не поймешь, плохое — и все тут. И двойки, двойки, двойки...

А в тот день, когда Генка пришел рваный-драный и сказал про Дом малютки, он был в лесу. Возвращаться из школы не хотелось: мать дома, опять начнется... Он вышел из школы и обомлел: середина апреля, и вдруг повалил снег. Ненастоящий какой-то, можно сказать — сказочный, медленный-медленный, задумчивый, густой, и каждая снежинка — размером с ладонь, словно из бумаги вырезана для новогодней елки. Он даже потрогал одну звездочку — нет, настоящая, холодная и влажная, но никак не улетает в сторону, кружит и кружит рядом, а потом легла на грудь и лежит, скушает. Он пошел через стоящий в воздухе снег и сразу стал белым с головы до ног, и уже проклянувшаяся под ногами трава побелела, того и гляди, сугробы выскочат и задымятся белым дымком. Совсем рядом, две остановки на трамвае, был лес, вернее, то, что от него осталось, когда здесь построили новый микрорайон. Генка подумал, что мокрый, почерневший лес, наверно, тоже весь оброс снегом и хорошо бы посмотреть на вернувшуюся с полдороги зиму, вновь разукрасившую деревья, и устроить в лесу метель, стряхивая вьюгу с веток. Он вскочил в трамвай, «зайцем» добрался до лесу и опоздал. Что делать настоящему снегу в апреле? Так, почудил немного и умчался обратно на небо, распластался до прозрачной голубизны и окончательно исчез, растопленный расплавленным желтком солнца. А лес остался перемогаться до настоящей весны: черный, сырой, неуютный.

Генке сразу стало скучно. Он постоял среди деревьев, поискал глазами белые заплатки снега с серыми разводами, притаившиеся внутри ям и канав, посмотрел, прищурившись, на солнце и присвистнул. Высокая ель, достающая аж до самого неба своей мощной макушкой, была залита светом, и длинные, бурые в это время года шишки словно кто-то окунул в розовую краску и сверху посыпал слюдой. Нарвать бы этих шишек, когда еще увидишь такие чудеса? Высоко, ствол мокрый и скользкий. Ну и что? Генка ловкий, на дерево забраться — ему раз плюнуть. Как белка — цоп-цоп своими тонкими руками и ногами, — добрался-таки до макушки, начал срывать цепкими пальцами крепко сидящие на ветках розовые чудеса и пихать в карманы. А потом развеселился: отщипнет шишку, карман подставит и ловит. Р-раз — попала, два — попала! Цирк...

Карман, конечно, не выдержал, надорвался. А потом когда Генка спускался вниз, он покалечил пальто и промок, конечно, весь. Но это ничего. Обидно, что внизу розовые шишки, отражавшие, оказывается, солнце, померкли, слиняли, и Генке расхотелось тащить домой это барахло. Выбросил тут же, под елью. А потом поднял парочку и запихал в карманы брюк — шишки шершавые, колючие, пригодятся для каких-нибудь интересных дел. Зачем ему драться? Он Гвоздь. Умеет постоять за себя.

В соседней комнате было тихо, но это ничего не значило: сейчас она опять задергает дверь, ворвется со своим заранее кричащим лицом, увидит, что он сидит за пустым столом и начнет голосить об уроках, о двойках, об искалеченном пальто и деньгах, ко-

торых нет, о бабе Зине, коммуналке с подселенцем и о поганой жизни, которую сыночек только и знает, что портит, вместо того чтобы помогать матери. Генка на всякий случай достал учебник по математике, тетрадку и ручку, но все никак не мог прийти в себя, слышал ее голос и фразы, которые она выкрикивала. Он не помнил, чтобы мать когда-нибудь улыбалась, тем более смеялась, никогда не слышал от нее слов одобрения или утешения, хотя иногда представлял ее ладонь, мягко поглаживающую его волосы, или руку, обнявшую его за плечо. Воображение на миг подсовывало эти картинки, а потом их словно сдувало ветром ее крика, и Генка знал, что никогда ничего подобного не произойдет. Всегда будет порядок в комнате, недорогая, но сытная еда, чистая одежда, а если он заболит — появятся лекарства на тумбочке и кружка чая перед кроватью на ночь. Но никогда не ляжет на его горячий лоб мягкая ладонь, и лекарства, кинутые с размаху на тумбочку, разлетятся по полу, а кружка с чаем грохнет о дерево и расплещет брызги по столешнице. И все это под обычный, привычный, невыносимый, даже если негромкий, крик: «Говорила — надень шапку, теперь вот валяйся, вся зарплата на таблетки ушла!..», «Потерял шарф, растяпа, вот и мычи, как бык, еще и вовсе голос потеряешь!..», «А нечего было шляться под дождем, ишь устроился, в школу не ходить, уроков не учить!..», «Останешься на второй год — заберу из школы, пойдешь работать, матери помогать!..» Однажды в жару и бреду он, не увидев ее около себя, вдруг решил, что она собирается уйти навсегда, оставить его одного и, ужаснувшись, громко закричал: «Мама!» Она ворвалась из соседней комнаты, стала на пороге, не приблизившись к постели:

— Чего орешь? Ночь на дворе.

Он не ответил, отвернулся к стене и успокоился: никуда она не ушла, ну и ладно, пусть будет, как есть, только бы не уходила...

Может быть, тогда и затеплилась в мозгу мысль о Доме малютки? Генка не помнил. То, что он высказал ей сегодня, родилось неожиданно, как будто ничего подобного он не думал, просто язык сам по себе сболтнул, — а оказывается, так и было. Он сидел за столом, перед раскрытыми учебником и тетрадью и видел четкую картину: вот мать роется в сумочке, достает кошелек, железнодорожный билет, упаковывает в сумку детские вещи, кладет на диван сверток в байковом клетчатом одеяльце — зеленое с белым, — перевязанный оранжевой лентой, садится на стул, упершись руками в колени и опустив голову. Потом картина уплывает.

Генка отчетливо видел и сверток, и клетчатое бело-зеленое одеяльце, и ее опущенную голову в желтых «шестимесячных» кудрях. От этого видения болела голова, и надо было переключиться, забыть. Он попытался решить задачу, ничего, как всегда, не понял, однако знал, что сможет понять, если захочет. Но тогда еще сильнее заболит голова. Зато он безболезненно может проделать другой фокус: придумать ответ на вопрос задачи, а потом посмотреть в конец учебника, и окажется, что ответ совпадает. В этом мало проку, учительница не поверит, скажет, случайно попал в точку или подсмотрел, и двойку вlepит, чтобы не фокусничал. Вот и все достижение.

А он хотел, чтобы его уважали. И знал: есть за что. Ну, ладно, пусть внешностью не вышел, зато многое, другим недоступное, умеет. У него цепкие руки и ноги, он быстрее и ловчее всех лазает на уроках физкультуры по канату, на перекладине крутится, как флюгер на крыше, и по бревну может пробежать на одной ножке, а никто вокруг не восхищается, и учитель выгоняет его с урока, чтобы не обезьянничал. Или вот, например, эти шишки, которые он принес из леса. Завтра на уроке математики он незаметно подложит их в штаны отличника Пашки именно в тот момент, когда этот воображала пойдет к доске объяснять, как он додумался решить эту самую задачу, в которой ничего не понял Генка, хотя знает ответ. Все просто: Пашка сидит рядом, он встанет, и Генка подпихнет шишки через ремень его брюк, почти целиком, только макушки оста-

вит. А уж у доски шишки соскользнут вниз, и этот умник будет крутиться, вертеться и дергать задницей. На радость всему классу. А потом все поймут, — но не докажут! — что это Генка постарался. Может, зауважают тогда? Вряд ли. Завопят: «Это Гвоздь, дурак, придумал». А он начнет оправдываться: «Ничего подобного». Какое уж тут уважение!

А может, все-таки решить эту задачу, выйти завтра к доске вместо Пашки и всех удивить? Для этого нужно напрячься, как от материнского крика, уплыть глубоко в себя и смотреть внимательно на напечатанный текст. Потом взять авторучку, и по бумаге, как дрессированные цирковые лошади, поскачут радостные цифры, то друг за другом, то парами, выстраиваясь в ряды: первая, вторая, третья. А потом они все припадут на передние ноги и поклонятся вместе с дрессировщиком, красивым и стройным, как ответ в задачнике. Генка-Гвоздь умеет проделывать такие штуки, он особенный, только потом очень сильно болит голова, поэтому заслуживать уважение этим способом — себе дороже выходит. И опять же — не верят. Он однажды на контрольной работе решил, принес в жертву голову, которая потом весь день раскалывалась, — и что же? «Гвоздь у Пашки все перекатал, думал, дурак, училка не заметит!» Заметила она, кол поставила — не списывай...

Он сидел за столом, писал на полях тетради каракули и ждал материнского крика: «Опять бездельничаешь? Заберу из школы!..»

Глава 2

Из школы она его все-таки забрала. Это случилось после того, как он проделал хохму с училкой по физике. Не то что она была злая или вредная, а просто случай подвернулся. Он стоял у доски, мямлил что-то о законе Ома, никак не мог вспомнить формулу, потому что думал о чем-то другом, а эта *дура* расхаживала по классу, и нет бы отправить его на место с двойкой — ждала, как он выпутается. Он смотрел на нее и потешался про себя: старуха, а юбку надела вязаную, всю в дырочках, и в дырки просвечивает розовая рубашка. Красота, да и только! Из-за этих дырок все и произошло. Генка сделал шаг к доске, будто хочет записать формулу, которую будто бы неожиданно вспомнил, качнулся к окну, одним мгновенным движением вырвал из кактуса на подоконнике самую длинную иглу и — р-раз! — всадил ее в центр стула. Одна секунда — дело сделано. Формулу он так и не написал, покрошил мел о доску, положил и пошел к столу за своей долгожданной двойкой. А старуха уже плюхнулась на стул и вопила благим матом — игла, видать, попала прямо в дырку на юбке. А дальше уже взяла дело в свои руки судьба, потому что игла вошла в ее толстую задницу по самое никуда, и потребовалось в больнице делать операцию, — короче, *пожилая учительница получила в школе производственную травму*. А кто виноват? Генка-Гвоздь, хотя никто ничего не видел, но пришлось ему оправдываться в кабинете директора, а мать сидела тут же, молчала и кивала головой. Потом сказала, спокойно так, культурно: «Простите, пожалуйста. Больше ничего такого не повторится. Сына из школы я забираю, пойдет в ПТУ. Может, поумнеет». А уж кричала-то она дома, да так, что бабка Зина в коридоре испугалась и начала вопить с ней на пару. Может, единственный случай, когда они с матерью пели на один голос. Ужас!

ПТУ — это производственно-техническое училище. Генка всегда думал, что там собираются самые тупые никчемные парни и девчонки, которые и таблицу умножения выучить не способны, и десять к десяти прибавить не могут. Мать решила выучить его на токаря, и он думал, что среди пэтэушной шушеры сможет наконец выделиться, показать себя. Оказалось, что не совсем и шушера, не очень-то и тупые, хотя всякие попадались, но были и такие, кому нравилось работать у станка, и такие, которые хотели

поскорее получить специальность и начать зарабатывать для себя, а то и для семьи, не имеющей кормильца. В общем, всякие были: и крутые, и с железными кулаками, с речью, в которой на каждые три слова приходилось два матерных. И покуривали. И пивом баловались. Генка понял, что и здесь, как в школе, трудно ему будет завоевать *заслуженное* уважение, но попробовать стоило. Хорошо было то, что в ПТУ двоек по общеобразовательным предметам не ставили, а ставили тройки с минусами, то есть минус можно было не учитывать. Тройка — хорошая оценка, по крайней мере, мощь материнского крика она снижала, как капли в нос, которые утихомиривают насморк, но почти никогда его не излечивают, — разве что сам пройдет. Насчет «сам пройдет» применительно к материнскому крику у Генки иллюзий не было, но все-таки жить стало полегче. Плохо было другое. С ним в группе оказался сосед по дому, который, кроме школьного пренебрежительного отношения к Генке, притащил с собой в училище его кличку, поэтому с самого начала он снова стал Гвоздем, и, как шлейф, потянулись за этой кличкой его прежние проделки, которые призваны были порождать уважение, а оборачивались презрением. Мириться с этим он не хотел.

Со станком Генка подружился быстро, все, что требовалось, освоил, и — раз-раз! — деталька готова, красивая, точно по размерам. Мастер Василь Васильич — пожилой человек с густыми седыми волосами, аккуратно подстриженной бородой и в массивных очках, больше похожий на профессора, чем на мастера производственного обучения, — иной раз подходил к нему, молча стоял рядом несколько секунд и спешил к его соседу, неумехе, у которого вечно ничего не получалось, долго что-то объяснял и показывал. Правда, Генку Васильич иногда хвалил, но как-то не по-профессорски. Ему бы сказать: «Молодец, парень! Золотые у тебя руки». Так нет. Посмотрит, посмотрит, бровями подергает и говорит: «Это надо же! Ни кожи, ни рожи, чего бы ждать от него? А глянь, как фокусничает, хитрец!» Разве так хвалят? От такой похвалы только обидно становится. А около соседа Митьки стоит и стоит, «молодец» да «молодец». Какой «молодец», если брак один?

Генка злился. И больше на Митьку этого, чем на мастера. «Ну, ты ж у меня получишь, растяпа!» — подумал он однажды и тут же, быстренько, когда Митька на миг отвернулся, подбросил ему горсть своих деталей, перемешал одним движением с его косыми уродцами и занялся своим делом, словно и не отвлекался. Васильич подошел к Митьке, посмотрел внимательно, пожал плечами. «Это ты, Митя, так насобачился? Будто не твои руки делали». Митька молчал, видно, и сам удивился, а тут Генка-Гвоздь подошел вразвалочку и небрежно так сказал:

— И как же это понимать? Смотрю, у меня продукции мало. А она, оказывается, вон где, у соседа моего. Ишь, как получается: отвернуться нельзя, тут же продукцию умыкнут. Ставьте, Василь Васильич, меня подальше от этого ворюги.

— Да не брал я у тебя ничего! — завопил Митька. — Я все сам делал, тоже кое-что умею.

— Ладно, — примирительно сказал мастер. — Не пойман — не вор. Только что-то здесь не так. Давай, Гвоздь, переходи на другой станок. А ты, Митя, смотри у меня! Еще раз поймаю — накажу крепко.

Вроде и выкрутился Митька, а осадок, как говорится, остался. Понял же опытный мастер, кто автор деталей, его не проведешь. Здорово! Только зачем же он, солидный человек, Гвоздем своего *лучшего токаря* назвал. Неправильно это, неуважительно.

Об этой истории долго потом судачили. Генка надеялся, что пацаны начнут шельмовать вора, а ему самому как потерпевшему, к тому же классному токарю сочувствовать, но вышло как-то странно.

— Слыхал, что Митька Гвоздю устроил?

— А так этому Гвоздю и надо. Тоже нашелся персона! Ему бы дать да еще раз поддать, чтобы не чванился.

Почему так? За что?!

Генка охладел к работе и уже механически, по привычке точил и точил свои детали и похвал не ждал. Зато теперь он хотел денег. Ему, ученику, почему-то хорошо платили, и скорее всего, это было делом рук Васильича, неплохого, в сущности, мужика, но в целом — такого, как все. И нечего было о нем думать. А вот денежки — другое дело. Он ничего не тратил на себя, все отдавал матери, и она даже как-то подобрела, стала копить на новый диван — сын заработал. А однажды пришла с работы, хотела пере- считать накопленное — в ящике пусто.

— Ген, а деньги-то где? Куда перепрятал? Забудешь, потом обыщемся.

— Не обыщемся. Нет никаких денег.

— Где ж они?

— А вон в прихожей, видела, велик стоит?

— Какой такой велик?

— Велосипед купил. Имею право.

— А диван?

— А диван и этот хорош.

— Ах, ты...

Она схватила от двери тряпку для пола и долго, методически била сына по лицу, груди, спине — куда попало. В первый и последний раз.

Генка сначала закрывался руками и даже пошел было в наступление, но вдруг увидел, что мать плачет, утирая глаза все той же грязной тряпкой. Он остановился в растерянности.

— Ты чего? Чего плачешь? Подумаешь, диван! Подожди, я тебе столько заработаю, что некуда будет тратить.

— Как же, заработаешь ты, хилытик! Зачем рожала?

Он мигом вспомнил бело-зеленый сверток на диване, оранжевую ленту, сумку с детскими вещами — и заплакал в свои шестнадцать лет, как ребенок, с всхлипываниями и подвываниями. Зачем она его рожала? От кого? Кто этот его неизвестный отец?

Генка долго не мог заснуть в ту ночь, думал об отце. Почему вдруг? Он раньше не сильно рассуждал на эту тему, иногда, в детстве, спрашивал у матери, а она если и отвечала, то одной загадочной фразой о какой-то «кравле», к которой ушел папаша. А расспрашивать начнешь — начинался крик, себе дороже выходило. Да и не все ли равно? На нет — и суда нет. А тут вдруг Генка не мог заснуть и стал думать, в кого он такой уродился, особенный, не как все. Сначала он с удовольствием вспоминал свои проделки: что-то спрятал, что-то подсунул, кого-то обвел вокруг пальца. Вот, к примеру, случай с баскетбольным мячом. Он уже почти засыпал, когда вспомнил ту историю: круги какие-то пошли перед глазами, шарики, мячики — и выкатился этот самый, баскетбольный, Генкина удача, жаль, что никто не оценил. Они играли на уроке физкультуры, Генкина команда проигрывала, даже не то что проигрывала, а счет был равным, опасным. Генка очень хотел выиграть, но как выиграешь в команде лопухов — не помогают, а только мешают. Надо было что-то придумать. Он бежал к сетке, стучал мячом, увертываясь от соперника, потом, не замедляя бега, подсунул мяч в кучу небрежно сваленных матов и продолжал бежать, похлопывая воздух ладонью.

— Эй! — крикнул физрук. — Что случилось? Мяч-то где?

— Как где? — *удивился* Генка. — Вот он. То есть... Ой! Пусто...

— Куда мяч дел? — заорали возбужденные игроки.

— Да здесь он был только что...

— Куда делся?

— Откуда я знаю?

Искали всем классом, во всех углах, под лавками, даже друг друга обыскивали. А в лохматую от старости кучу матов, которые давно пора бы выбросить, никто и не

заглянул. Как может баскетбольный мяч туда закатиться? И вдруг — глядь: лежит искомый спортивный снаряд на виду и покачивается, словно посмеивается: вот он, я.

— А где он был-то? — не понимали мальчишки. — Гвоздь, говори, откуда мяч достал?

— Ниоткуда не доставал. Так и лежит, как лежал.

— Фокус-покус, — сказал физрук и засчитал ничью...

И сколько еще их было, таких случаев! Генка засыпал, а в ушах, как детская считалка, ритмически постукивало: фокус-покус, фокус-покус. Конечно, не всякий так умеет, тут нужны способности. А откуда им взяться, не от матери же? Он погрузился в сон и вдруг снова очнулся, резко сел на кровати. Фокусник! Его папаша был фокусником! Артистом. Его можно найти, надо только разузнать, как это делается. Хотя, конечно, если он артист, мог фамилию сменить, типа Жемчугов или Хрусталева. У них это принято, чтоб красивше звучало. Дураки, что от фамилии меняется? Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Однако если фамилия другая, искать трудно. Есть способ, верный, но мучительный. Тот, от которого болит голова, и в сон клонит, и долго потом не можешь прийти в себя. Нет, поиски отца он отложит на потом.

Потом, потом, потом...

Фокус-покус...

Глава 3

От срочной службы в армии Генка, считай, «откосил»: сам себе устроил какие-то шумы в сердце — опять пришлось напрячься, а потом долго мучиться головной болью. Но стоило того: в армии его бы и вовсе «опустили».

Он пришел на работу в большой инструментальный цех и быстро преуспел, дошел до седьмого разряда, а похвал больше не ждал: что в них толку, тем более что дурацкая кличка «Гвоздь» неведомыми путями пробралась вслед за ним и прилипла, навеки. Не отодрать. И как бы классно он ни работал, премий особенных не давали и на Доску почета не вешали. И к дружбе с ним никто не рвался, словно все время ждали от этого Гвоздя какой-то каверзы. Какой каверзы? Человек работает, деньги зарабатывает, так чего вы хотите? Завидовали, что ли?..

Правда, однажды он все-таки прославился. К его станку подвели группу подростково-практикантов.

— Вот смотрите, как работает Гвоздь, — сказал мастер. — Тьфу-ты, господи! Геннадий. Товарищ Геннадий, токарь седьмого разряда. Смотрите и учитесь.

Товарищ Геннадий, удивленный вниманием к своей персоне, расставил учеников, как положено, чтобы и видно было, и безопасно, — и начал свое волшебство, периодически переставляя пацанов в удобные для обзора места. Мальчишки не очень-то интересовались его работой, скучали, шептались, переминались с ноги на ногу. Он остановил станок, оглядел внимательно всю компанию и спросил:

— Вот скажите-ка, зачем вам нужны эти детали?

Один пацан довольно бестолково начал объяснять назначение изделий.

— Это понятно, — прервал его Генка. — А для личных целей — зачем они вам?

— Для каких личных? — не поняли ребята.

— Вот и я думаю: для каких? На продажу, что ли? Да кто ж их купит?

Они переглядывались, не понимая.

— Ты чего, Гвоздь, несешь? — разозлился мастер.

— А вот смотрите. Давайте, парни, становитесь в ряд. На первый-второй рассчитайтесь! Теперь каждый второй сует руку в карман и достает... Ну, что стоишь? Лезь в карман. И что там? Показывай, показывай... Детальки мои родные, вот что у тебя в кармане. А теперь ты показывай. Опять детальки? Не может быть! А у тебя? Давай-давай

не ломайся. Картина та же. Ну, и зачем вы их набрали? Играть собрались? Они ведь денег стоят, а мне выговор объявят. Это ведь материальные ценности. А?

— Мы не брали, — прошептали испуганные пацаны.

— Они не брали, — заступился мастер. — Чего ты гонишь, Гвоздь?!

Генка выдержал паузу, сокрушенно помотал головой и засмеялся:

— Ладно. Отомрите. Это я вас развеселить хотел, больно уж вы скучные. Ну, что молчите? Фокус я показал. Ничего вы не брали, я сам подсунул в карманы, а никто и не заметил. Фокус-покус.

Пацаны пришли наконец в себя и... заплодировали вместе с мастером. «Надо же, — подумал Генка, — как в цирке». Ему было приятно. Слава, как не научившийся ходить младенец, подползла к нему и уцепилась за рукав. А вы говорите: Гвоздь, Гвоздь...

Хотя теперь главным была для него не слава. Теперь он хотел и мог заработать много денег. Страстное желание разбогатеть возникло в нем в тот момент, когда плачущая мать, аккуратистка и чистюля, принялась вытирать глаза грязной тряпкой с пола. Не слезы ее, а именно эта тряпка, которую она схватила *в отчаянии*, вырвали из него незнакомое доселе чувство жалости. Оно, это чувство, всегда пряталось где-то в душе или в каком-то другом органе, как покальывающая боль, которая в конце концов оборачивается приступом болезни. Генка заболел. Он вдруг понял, что мать несчастна, и не знал почему. Что такое ужасное, кроме «крали», случилось в ее жизни? Нормальная жизнь. Жилье есть, ребенка родила, работает в хорошем месте, в магазине, а потому в доме всегда водятся конфеты, весной появляются первые свежие огурцы и корюшка. И везде у матери знакомые: в парикмахерской — без очереди и свой мастер; водопроводчика вызвать — все исправит, как надо, и не будет болтать, что нет прокладок, он, мол, поставит свою, а это стоит три рубля; в аптеке, если вдруг пропала куда-то вата, — вынесут из подсобки; а если надо купить обувь подешевле — позвонят и скажут, когда ожидается привоз. Чем не жизнь? Разве что мало платят и ребенок получился неудачный? Вот эти два пункта он и собирался исправить, тогда еще не понимая, что человек может быть несчастен от того, что жизнь сложилась не так, как мечталось, что нет в ней ярких красок, а только серость, постоянная борьба за существование, которую приходится вести в одиночку, не имея поддержки, помощи и родного плеча, чтобы уткнуться в него в трудную минуту. Всего этого Генка не понимал, но знал, что может стать хорошим сыном, которым мать будет гордиться, потому что он умеет прилично заработать.

Генка старался. Вот и диван купили, и новым постельным бельем разжились, и чайный сервиз, польский, белый с золотой каймой, о котором мать мечтала, украсил пустующую «горку» буфета. А на Новый год Генка подарил ей фланелевый халат — эксклюзивный товар, купленный им в открывшемся возле дома кооперативе. О себе Генка тоже не забывал. Догадался, что не красота украшает мужчину, а упаковка и ее цена. В первую очередь надо купить джинсы, теперь их носят все приличные мужики, джинсы хорошей марки, импортные, он видел такие на начальнике смены, обтягивающие, а на заднице ярлык «levis». Пошел в другой кооператив, спросил эти самые «levis», говорят: «Мы-то шьем отечественные, но для вас... сейчас посмотрим». И выносят: в упаковочке, красиво сложенные — радость для глаз и души. «А примерить?» — спрашивает Генка. «Ну, как же упаковку портить? Это ваш размер, к тому же товар эластичный, будут сидеть как влитые». И тут у Генки разболелась голова. С чего бы? Он напрягся и молча уставился в лицо продавца.

— Это джинсы фирмы «Levis»?», — спросил строгим начальническим голосом.

— Да, да, вы же видите марку.

— Марку вижу и сейчас приведу милицию. Будем делать экспертизу, что это за «Levis» такой, в какой стране изготовлен.

Упаковка мигом была сметена на пол настороженной рукой продавца.

— Гражданин, что вы здесь стоите? Идите, идите, мы закрываемся на обед.

— Ах ты, козел, — сказал Генка. — Ты что хотел мне подсунуть?

— Не понимаю, о чем вы говорите. У нас обед.

Голова болела страшно, но Генка был доволен. Вот каким точным прибором одарила его природа. Сколько славных дел можно провернуть, имея такое богатство! Если бы только башка не разламывалась...

Джинсы он все-таки купил, правда, у какого-то фарцовщика и за дорого — но уж точно настоящие, фирменные — он это *знал* — и к ним курточку и разные мелочи, даже трусы импортные раздобыл: не сатиновые, «семейные», жуткого фиолетово-голубого цвета, а белые, трикотажные, похожие на плавки. И раздеться при людях не стыдно. Вот только девушкой не обзавелся. Да и немного их было в инструментальном цехе, хотя некоторые женщины, как мужики, работали на станках, и были среди них две молодые, незамужние — он выяснял, осторожно, словно ненароком, интересовался. Только что ж это за девушки, которые в платочках, в синих халатах с масляными пятнами, с грязью под ногтями выполняют мужскую работу и сами постепенно становятся мужиками? Голоса грубые, движения резкие и матерятся через слово. Да еще курят папиросы! Не нравились Генке такие девушки, к тому же он был робок. Подкатишь к такой, а она захохочет на весь цех и пошлет куда подальше: ты чего, Гвоздь, трахнуться хочешь?..

Но одна девушка все-таки привлекла его внимание. Она работала учетчицей, сидела в маленькой застекленной конторке с всегда открытым окошком, и рабочие частенько общались с ней по тем или иным насущным вопросам. Генке, конечно, тоже приходилось. Девушка выглядела скромно, говорила тихим голосом и никогда не грубила. У нее были неяркое курносое лицо и очень круглые большие глаза серо-голубого цвета, распахнутые, как будто она все время удивлялась. Конечно, халат и платочек ей тоже приходилось носить, но иногда платок сползал на затылок, и были видны ее светлые вьющиеся, очень густые волосы, так что Генке один раз захотелось их потрогать: мягкие или жесткие? Но это так, один раз, вообще-то, он на эту Катю не нацеливался, невзрачная какая-то. А однажды, когда он уточнял у нее что-то о своей дневной выработке, она сказала:

— У тебя хорошие показатели, Гвоздик. Молодец!

Если тебя назовут дураком — это обидно. А если скажут: дурачок — получается ласково. Вот так и с этим «Гвоздиком». Не Гвоздь, а Гвоздик. Так его в детстве называли, по-хорошему, без грубых намеков. Из-за этого «Гвоздика» Генка на Катю запал. И из-за волос. И из-за глаз: круглые, внимательные — честные.

Через два дня он снова стоял у окошка, а Катя, листая свою конторскую книгу, никак не могла найти его фамилию. Он смотрел на ее склоненную над книгой голову, любовался золотящимися пышными волосами под сползшим на затылок платочком и редкими, но очень длинными опущенными ресницами, от чего она становилась похожей на спящую девочку. Потом протянул в окошко руку и ткнул пальцем в свою фамилию.

— Ой, вот же она, — сказала девушка. — Как это я пропустила? Все в порядке, Гвоздик, иди обедать.

— А ты, я смотрю, сладкое любишь покушать.

— Почему? — округлила она глаза. — С чего ты взял? Я что, толстая?

— Нет, ты не толстая, а очень даже нормальная. Но сладкоежка. Стесняешься своей слабости, прячешь конфеты?

— Почему прячу? Что-то я не понимаю...

— Ну, я же вижу. Вон, под платочком, что это у тебя?

Она подняла руки к голове, пошевелила волосы и вытащила шоколадный батончик.

— Ой! Откуда это?

— А говоришь: не прятала.

— Да я... Это не мое. Откуда?

— С неба упало, — засмеялся Генка. — Кушай на здоровье.

В другой раз он подsunул ей между страницами ее толстого «гроссбуха» тонкую шоколадку и сказал небрежно:

— А ну-ка глянь, за прошлый месяц я норму выполнил?

— Конечно. Ты всегда выполняешь.

— А ты все-таки проверь.

Она полистала страницы, нашла шоколадку, опять удивилась, потом засмеялась.

— Ну, ты даешь! Когда же успел? А я не заметила.

— Фокус-покус, — сказал Генка...

Он еще не знал женщин и, сталкиваясь с ними на улицах или в метро, порой чувствовал неясное беспокойство, тревожное и одновременно приятное. Он был взрослым мужчиной, хотя по-прежнему хилым и тонким, давно уже брился по утрам и даже подумывал отпустить бороду — для солидности. Пора было стать мужчиной по-настоящему. Однако, странное дело, думая о Кате, он не рисовал мысленно будоражащих воображение картин физического обладания ею, а чувствовал кожей ладони ее густые волосы, и слышал ее тихий голос, и видел ее круглые детские глаза. Все, чего он хотел, — держать ее за руку и чтобы она называла его «Гвоздиком» и удивлялась его фокусам...

Он закончил смену, вышел из ворот завода, порадовался спокойным зимним сумеркам, без большого мороза, снегопада и ветра, который всегда нервировал его и толкал на странные поступки, — и увидел идущую впереди Катю в коротком пальтишке, из-под которого выглядывала юбка, шерстяной шапочке и сапожках на низком каблуке. Через ее плечо были перекинута связанные шнурками ботинки с коньками, что делало девушку похожей на девчонку, спешащую после школьных уроков на каток. Генка не удержался, догнал ее и неслышно пошел рядом — он умел так ходить: чтобы и снег не скрипел под ногами, и никакого движения воздуха не ощущалось. Как кошка. Или тигр.

— Привет спортсменам-разрядникам! — негромко произнес он.

— Ой! — вскрикнула от неожиданности Катя.

— Чего пугаешься? Я не съем. На каток собралась? Рекорды ставить?

— Да какие рекорды? Я просто так, для удовольствия.

— А где катаешься?

— На «Динамо». Там школьников пускают бесплатно. И меня пускают, думаю, я маленькая.

— А меня пустят?

— Вряд ли. Ты все-таки взрослый.

Генке не понравилось это «все-таки» — намек на его худобу и длинные руки и ноги.

— А за деньги мне можно?

— Наверно.

— Так возьми меня с собой. Ты будешь дочкой, а я папашей.

Она засмеялась.

— Тоже мне — папаша. А ты умеешь кататься?

— Я все умею.

- Ну, пошли.
- Завтра, ладно? Коньки возьму.
- Ладно. Хотя можно взять напрокат.
- Нет, лучше свои. И лучше послезавтра. Завтра у меня дела...
- А как тебя зовут, вообще-то?
- Геннадий, — важно представился он. — Можно просто Гена. Значит, договорились?

У него не было коньков, и он никогда в жизни не пробовал кататься. Впрочем, Генку-Гвоздя этот факт не пугал ни капли, он въедливый, если чего захочет, обязательно сделает. Он в тот же день купил в магазине «хоккейки», а назавтра, в свой выходной, пошел с утра на пруд за домом, где зимой по замерзшей поверхности крутилась на «снегурках» и «фигурках» всякая малышня, и, не боясь насмешек, покатил. Ну, не с первого раза, конечно. Он сначала установил себя на льду, покачался на острых подошвах, приспособился. Посмотрел, как малявки сучат ножками, присел чуть-чуть для надежности — и вперед. Пару раз упал, даже не то что упал, — вот бы насмешил! — а коснулся руками льда и резко выпрямился. В общем, поехал худо-бедно. После обеда пришел снова, пригляделся к ребятам постарше, получил свою долю шуточек и насмешек, но выдержал. Вечером, уже в темноте, он оттачивал мастерство, был доволен собой, и возбужден предстоящей завтра авантюрой, и уже чувствовал Катину ладошку в своей руке, и старался не думать о материнском крике, который встретит его в прихожей:

— Где опять шляешься? Зачем купил эти костыли?! Деньги девать некуда?!

Генке было хорошо...

Они вышли на лед, держась за руки, и Генка сначала немного покривлялся, изображая неумеху, впервые оказавшегося на льду, а потом выпрямился, подпрыгнул и понесся вперед, увлекая со собой Катю, — и они помчались вместе, ловко огибая катающихся. Здорово! Катя раскраснелась, пышные волосы, выбившись из-под шапки, покрылись инеем. Снегурочка. Генка не смотрел на нее, но видел и был на седьмом небе от скорости, от ее улыбающейся мордашки и ладошки в красной шерстяной варежке. Потом они остановились около скамейки, Катя плюхнулась на сиденье:

— Уф-ф!

Генка опустился рядом, хотел поправить ее волосы, подпихнуть под шапку, но не решился. А может, он просто оттягивал удовольствие: куда торопиться, зачем все сразу? Успеется.

— Смотри, — он ткнул пальцем в сугроб, притулившийся к скамейке. — Лето пришло.

— Ой! — округлила она глаза. — Цветочек растет... прямо из сугроба. Он, наверно, искусственный, бумажный... Кто-то воткнул...

Он вытащил цветок из сугроба, повертел в руках, понюхал.

— Нет, он живой, настоящий, как только не замерз? Это тебе, Катерина, держи.

— Ой, — опять удивилась она, — а как же? Был один, а теперь три...

— Размножились, — засмеялся он. — Фокус-покус.

Генка решил, что каждый день таскаться с ней на каток — глупо, быстро надоест и ей, и ему самому. И вообще, он не хотел настырничать, он хотел, чтобы она ждала его у своего окошка и мучилась, что он молчит, деловито осведомляется о выработке и фокусов не показывает. Через неделю она спросила:

— А на каток ты ходишь?

— Не-а, я старый, спина болит. И подагра разыгралась.

— Бедненький, — засмеялась она.

Генке нравилось, что по отношению к нему она использует уменьшительно-ласкательные суффиксы. Получалось несколько не жалостливо, а нежно и опять-таки по-детски. О ее возрасте он осторожно узнал, иметь дело с малолеткой было ни к чему.

Оказалось, ей двадцать лет — а глаза круглые, как у куклы, и голос тонкий. Хорошая девчонка, подходящая.

— Слушай, Снегурочка, — сказал он, — я сегодня пообедать не успел. Пойду в кафе после работы. Пойдешь со мной? Музыку послушаем, а то смотрю, ты что-то грустная. Обидел кто?

— Да нет, — покачала она головой, — так просто... Пойдем в чебуречную, я чебуреки люблю.

— Годится, — сказал Генка.

И правда, грустная она сегодня. Узнать бы, что у нее за жизнь, есть ли парень? Или был? Спрашивать ни в коем случае нельзя — вообразит, что он крепко подсел, начнет выпендриваться. Он мог бы узнать, но не хотел, — голова будет болеть, да и зачем? Посмотрим.

Но он в самом деле подсел. Он видел, что рабочие, стоя у окошка, пытаются с ней заигрывать, представлял себе, как она отвечает им тихо и ласково, злился и чувствовал иногда, что кулаки чешутся накостылять трепачу по шее. Он ревновал ко всем, однако держался, виду не подавал, а в кафе был серьезен и деловит, читал меню, сдвинув брови, и когда с тарелки вдруг пропал хлеб, а потом неожиданно появился, только молча пожал плечами. Катя уже не говорила «ой!», а улыбалась и смотрела на него с уважением.

— Какой ты талантливый! Кто тебя научил фокусы показывать?

— От отца передалось.

— А он кто? Артист?

— Да, фокусник в цирке.

— А-а, он тебя учит...

— Нет, он не учит, он все время на гастролях, дома бывает редко. А это уж по наследству передалось.

— Так что же ты у станка стоишь? Шел бы тоже в артисты.

— Кто-то должен стоять у станка, дело делать, а не людей смешить. Рабочий класс — фундамент нашего общества.

— Фундамент, — повторила она и засмеялась.

Нет, не обидно засмеялась, не презрительно, а просто над тем, как он выразился, пафосно, словно строчкой из газеты. Он и хотел ее насмешить.

Потом Генка проводил ее до дома, за руку не брал, молча шел рядом, засунув кулаки в карманы, и думал о том, что на прощание поцелует ее, только не знал, как лучше: в губы или в щечку. Почему-то он больше хотел в нежную, румяную от мороза щечку, но у самой двери, по-прежнему держа руки в карманах, наклонился и едва успел коснуться ее губ, как она вывернулась и, улыбаясь, принялась искать в сумочке ключи. «Девчонка, — подумал Генка с умилением, — стесняется. Или не хочет? Или кто-то есть у нее?» Он мог бы, мог бы узнать, и голова уже начинала болеть в предвкушении того странного *состояния*, которое туманит мозги, но проясняет действительность...

Генка старался как можно реже подходить к ее рабочему месту, чтобы не начали над ним потешаться всевидящие бабы и скабрзные мужики, которым только дай повод потрепаться на щекотливые темы. Он задерживался около Катиного окошка только по делу и на несколько минут, но успевал как-то насмешить или что-нибудь предложить в небрежной форме, походя: то в кино сходить (одному, мол, скучно), то опять же на каток (только другой, посOLIDнее, в ЦПКиО, например), то покататься на «американских» горах (один боюсь, надо за кого-то держаться, а мамочке некогда). Катя соглашалась, но он чувствовал, что она все время ждет фокусов, а ему надоело развлекать ее, хотелось чего-то другого, бОльшого, а чего именно — он не знал. Генка хотел уверенности.

Он выбрал недорогой, но симпатичный ресторанчик, названный, по двусмысленной моде последних лет, «Мягкое место», — имелись в виду, конечно, стульчики с мягкими сиденьями и общая размягченная атмосфера отдыха. Он пошел туда один, посидел за столиком с бокалом вина и легкой закуской, присмотрелся, прислушался. Оркестр играл что-то несусветное, странный солист с почему-то раскрашенным лицом, перекрикивая визг саксофона и воинственный бой барабана, выкидывал коленца, делал сальто, тербил ширинку и показывал руками что-то непристойное. Потом отдыхающие, подкрепившись и поднабравшись, потихоньку подтянулись к танцевальной площадке — и понеслось. Собственно, ради этого зрелища Генка и пришел сюда. Он хотел научиться танцевать. Оказалось, нехитрое это дело в наше время — танцевать. Не надо обниматься, прижиматься друг к другу, музыку слушать. Можно даже одному сплясать, без партнера. Стой и крути ногами и задницей. Он посмотрел, посмотрел, потом попробовал — нормально, руки и ноги ходят ходуном, можно вприсядку, можно в ладоши бить, можно качаться или вертеться вьюном. Это тебе не вальс или танго, как в старом кино показывают. Он бы и вальс смог, и танго, и краковяк, но не прикасаться — все-таки лучше. Прикасаться он будет потом и не здесь, на людях.

— Премию дали, — буркнул он в Катину окошко. — Надо срочно потратить, а то на мороженое проем. Любишь мороженое? Ешь, — и ловко вытащил «рожок» из ворота своего рабочего халата, со спины.

— Фокус-покус?

— Ага. Так я говорю, деньги надо срочно потратить. Пойдем в ресторан вечером, поедим, потанцуем?

— Ой, нет, Гена. Не могу я сегодня.

И смотрит как-то загадочно: глаза не круглые, а узкие, сощуренные.

— А в субботу? Знаю один хороший кабак. «Мягкое место» называется.

— Как, как?! — прыснула Катя.

— Как услышала, так и называется. Пойдем в субботу?

— Не знаю, Гена. Посмотрим.

Вот тебе и раз! Посмотрим... И улыбается, и глаза щурит.

У Генки болела голова. Он кое-как отработал смену, стараясь не смотреть в сторону Катиной «избушки». И не смотрел. И домой пошел, даже не взглянув в ее сторону. Посмотрим... А что смотреть, и так ясно. Ясно до отвращения. До отчаяния...

Он поужинал и направился в прихожую — одеваться.

— Куда пошел на ночь глядя? — заранее настроиваясь на крик, бросила мать ему в спину.

— Голова болит. Прогуляюсь перед сном.

— Попробуй только в чего-нибудь ввязаться!

— Не ввяжусь. Не бойся.

Нет бы забеспокоиться, таблетку дать. Куда там!

«Это как же получается? — думал он, направляясь к автобусной остановке. — Выходит, не я своей башкой команду, а она мной. Только этого не хватало. Шалишь. Не поеду никуда».

Но он понимал, что поедет.

На катке даже в будний день чувствовался праздник. Каток в городе... С его огнями, перемежающимися свет с тенью, как откровение с тайной, оглушительной музыкой, туманящей слова и придающей им двойной, интимный смысл; каток в городе — с его, казалось бы, вечным движением, кружением, круг, из которого всегда можно при желании выскочить или остаться и мчаться, мчаться, не думая о том, что находится вне этого радостного пути. Всегда веселые румяные лица, смех, знакомства. Знакомства...

Генка стоял на «бровке», в тени, засунув руки в карманы, и ждал. Не высматривал ее среди мелькающих фигур, а именно ждал, потому что знал: она появится, она уже летит в его сторону, и он не обрадуется встрече. Румяная. С выбившимися из-под шапки, украшенными инеем волосами. Снегурочка...

Катя не мчалась, не летела — она плыла по льду, медленно, тормозя общее движение и нисколько об этом не беспокоясь. Ее рука в красной варежке покоилась в другой руке, просто отдыхала, нежилась. Касалась. У нее было счастливое лицо. Улыбка, сощуренные глаза и что-то еще, чему нет названия, потому что в этот момент невидимая *душа* проступает сквозь жесткость и неровности кожи, преобразует черты и делает человека неузнаваемым. Катю нельзя было узнать. Не девчонка — женщина. Любящая женщина... Неподалеку от Генки они остановились, обнялись, поцеловались.

Он пошел прочь, ослепленный, оглушенный — опустошенный. Зато голова не болела. Отработала свое и успокоилась.

Назавтра он подошел к Катиному окошку, спросил спокойно, даже не притворяясь, равнодушным, лишенным оттенков голосом:

- Это твой парень?
- Какой?
- Ну тот, вчера на катке. Я вас видел.
- Ты тоже катался?
- Неважно. Так твой?
- Да.
- Что ж не сказала мне?
- Мы в ссоре были. А что говорить?
- Теперь помирились?
- Ага, — и улыбнулась.

Генка не собирался мстить, получилось само собой. Так сложились обстоятельства. Кто-то заглянул в дверь конторки, Катя привстала, оглянулась. Генкина рука вмиг нырнула в окошко и быстро, бесшумно, ровненько вырвала из ее учетной книги лист за вчерашний день. Генка скомкал его, сунул в карман и отошел. Пусть помучается, получит нагоняй от рабочих и от начальства. Так ей и надо. Он не собирался ее наказывать, само получилось....

Он и не подумал вынюхивать, что у нее за парень. Какая разница? Может, он вообще не заводской. Какой-нибудь пижон с мускулами, культурный, шибко грамотный. С такими умниками девчонкам приходится держать ухо востро, подчиняться и шурить глаза, — того и гляди, бросит. А с Генкой-Гвоздем что церемониться? Вернее, с Гвоздиком?

Весь день Генка чувствовал себя беспомощным, пустым, без мыслей в голове. Можно сказать, он вообще себя не чувствовал. Даже обида как будто не проникала в его существо, а кружилась вокруг, только била по ушам неумолчным грохотом инструментального цеха. Генка вяло точил свои детали, автоматически следил за станком и по окончании смены к окошку учетчицы не подошел. Наплевать на выработку, тоже мне счастье — герой труда!

Мать была на работе, и слава богу, только крика ее ему сейчас не хватало, ему была нужна тишина. Да и тишина ни к чему — ничего не было ему нужно. Он схватил коньки, пошел на пруд за домом, — может, полегчает? Но на детском катке стоял галдеж несусветный: мамы пришли с работы, потащили детей дышать свежим воздухом, пользуясь мягкой погодой. Генка представил себе — отрешенно, словно во сне, — что медленно плывет по льду, и Катина ладошка в красной варежке *покоится* на его сильной руке, и морозный воздух обволакивает их со всех сторон, сближая друг с другом.

Когда ты со всех сторон окутан нежной паутиной тонкой морозной накидки, можно и целоваться у людей на глазах, — даже если они видят тебя, ты-то их не видишь!..

Мелкий пацан грохнулся об лед, заревел, и рев его вырвал Генку из сна и поместил обратно в действительность. Он повернулся и пошел в сторону дома, по дороге остановился около мусорного бака и хотел бросить туда свои почти новые коньки, но кто-то извне схватил его за руку. Не кто-то, а он сам, прежний живой Генка-Гвоздь, которому умирать из-за куклы с закрывающимися глазами нет никакого резона. Ну, выбросит он неудачливые коньки, а какой-то олух получит задарма хорошую вещь. Не выйдет.

Назавтра он продал свой спортивный инвентарь в собственном дворе мужчине, систематически по утрам «бегающему от инфаркта». Продал и имел навар, потому что убедил этого борца за здоровый образ жизни, будто коньки особенные, почти волшебные. Тут, конечно, одних слов было недостаточно, нужно было удивить. Генка поставил ботинки на землю, сунул в них руки и покатил на руках по длинной замерзшей луже. Мужчина обалдел и купился. Правильно, Генка-Гвоздь, вернее, Гвоздик всегда был ловким, все мог...

Плохо было то, что он совсем охладел к работе. Да он и раньше не пылал, просто хотел безбедно жить, и это получалось легко. Теперь деньги перестали его интересовать, постоянный шум в цехе раздражал, и окошко учетчицы, которое нельзя было обойти стороной, нервировало своей настойчивой обязательностью.

— Ухожу с завода, — сказал он матери.

— Куда это?

— Пока не знаю.

— Ну, ясно, чего было ждать от такого недоумка. Недолго музыка игралась, недолго фраер танцевал, — последнюю фразу она уже кричала.

Глава 4

Генка гулял без определенного направления и цели по какой-то пустынной улице, остановился у щита с объявлениями и бездумно уставился в приклеенные к нему листочки, то небрежные, написанные от руки, то отпечатанные на пишущей машинке или даже типографским шрифтом. Ветер слегка трепал их, шуршал бумагой, и Генке представилось, что собралась компания сплетников, которые нашептывают друг другу свои тайные истории, переговариваются, смеются и хвастают, подвирая. Одно объявление бросилось ему в глаза, потому что было напечатано крупно и на фоне общей болтовни выглядело солидно — как значительный человек, случайно затесавшийся в толпу мелких трепачей. Объявление гласило, что некоему кирпичному заводу требуются специалисты рабочих профессий: фрезеровщики, токари, слесари и прочие другие. Генке это было не интересно: рабочие в цеха требовались постоянно, а он уже наелся, хватит с него. Но в конце списка приютилось требование непонятное: *рабочий в лабораторию физики стекла*. «Физика стекла» звучало серьезно. Не просто «физика» — шут бы с ней, — а *физика стекла*, словосочетание, от которого пахло фундаментальной наукой, причем *стекло* — ключевое слово, звонкое, прозрачное.

Он уже три недели слонялся без работы, почти привык к материнскому ору, но выходящее пособие заканчивалось, а жить совсем без денег — скверно. Не у матери же просить, да она и не даст. Генка запомнил адрес и поехал на следующий день. Свободно вошел на территорию завода, огляделся. Точно, кирпичный. На высокой эстакаде мужчины в рабочих спецовках, без пальто и шапок, прямо с вагонеток, руками в уродливых рукавицах выхватывали из раструба печи, скрытой в глубине цеха, дымящиеся

кирпичи и укладывали их на поддоны, которые тут же увозили автопогрузчики. Быстрая работа, горячая — Генке понравилось. Только при чем здесь «физика стекла»?

— А где здесь лаборатория? — спросил он проходящего мимо дядьку.

— Какая лаборатория? — удивился тот.

— Ну, эта, где физику стекла изучают.

— Изучают? У нас здесь работают, а не изучают.

— А в объявлении написано про лабораторию стекла.

— А-а... Так это, наверно, тебе в стекловаренный цех идти. Вон там, видишь, новое здание?

Первое, что он услышал, войдя в здание, — шум, вернее, рев, почище, чем грохот инструментального цеха, так что женщина, к которой он обратился с вопросом о лаборатории, не вдруг его расслышала, а он едва ли не по ее губам поймал ответ: идите наверх — и показала куда, для верности.

Наверху, слава богу, стояла тишина, и искать не пришлось. Прямо перед глазами табличка: *заведующий лабораторией*. Генка и сунулся в эту дверь.

Дама средних лет подняла на него глаза, сняла очки и сказала не очень приветливо, но негромко, а ему показалось, что заорет, как мать: такое у нее было лицо, напряженное и унылое:

— Слушаю вас.

— Я по объявлению, насчет работы, написано: требуется рабочий. А я как раз токарь седьмого разряда, — он показал свое удостоверение.

— При такой высокой квалификации вам бы в цех идти, а не к нам.

— Да я два года в цеху работал, слух подсел, пришлось уволиться.

— А-а... — голос подобрел, и в глазах мелькнуло подобие улыбки. — Пьете?

— В смысле?

— Выпить любите?

— Нет, совсем не пью.

— Прямо уж совсем. Ну ладно, вы нам, наверно, подойдете. Подошли бы мы вам...

— А какая работа?

— Сейчас расскажу. Не торопитесь?

— Нет.

Она начала издали и рассказывала, как сказительница, растягивая слова, словно заинтриговывая. Даже похорошела. «Ишь, артистка», — подумал Генка.

— Ну вот. Завод у нас кирпичный, но вы же знаете, сейчас страна идет по пути индустриального панельного строительства. Что такое железобетонные панели? Серость, неприглядность, скука. Поэтому их облицовывают керамической плиткой, вы это видите повсеместно. Наш замечательный город должен выглядеть красиво. Но надо идти вперед. Правительство нацеливает нас на производство современного строительного материала — мозаичной плитки из стекла. Нашему заводу выпала честь организовать у себя дополнительное производство. Я вам потом его покажу.

— Я видел эти плитки. Они отваливаются от стен, некрасиво выглядит, — неудачно ввернул Генка.

Дама нахмурилась.

— Конечно. Они же не пористые, как керамика. Но есть специальные герметики, над креплением неустанно работает научно-исследовательский институт. А задача нашей лаборатории — контролировать и изучать физические свойства изделий: прочность, термостойкость, морозоустойчивость и прочее.

«Ну, запела», — заскучал Генка, продолжая вглядываться в сказительницу с видом поглощенного сказкой ребенка.

— У нас хорошо оснащенная лаборатория, вы сейчас увидите. Но только сразу скажу, чтобы не терять даром времени. Ставки рабочего у нас нет, вы пойдете по сетке лаборантов, а это очень скромная зарплата. Особенно для токаря седьмого разряда, — она почему-то усмехнулась.

— А сколько в месяц?

Она назвала, Генка внутренне чертыхнулся, но сказал:

— Подойдет. А что надо делать?

— Ну, пойдете.

Она с трудом выбралась из-за стола, взяла из угла трость и, тяжело переваливаясь, заковыляла к выходу. «Калека, — понял Генка, — потому и злая, на судьбу злится. Мать тоже калека, — вдруг подумал он, — хотелось одной жизни, а получилась другая... И я тоже...» — он тряхнул головой, прогоняя ненужные мысли, и пошел следом за начальницей, искусственно укорачивая шаг.

Идти оказалось недалеко, в соседнюю просторную и светлую комнату, уставленную по периметру незнакомыми Генке приборами. В центре лаборатории за несколькими сдвинутыми столами сидели четыре женщины, читали какие-то бумаги и что-то записывали в конторские книги. «Прикидываются трудягами, — сразу определил Генка. — Тоже мне, научные работники. А сами небось сбились в кучку и трендят о всякой ерунде. Приборы работают, а они языками чешут».

— Это наши лаборанты, — начальница строгим взглядом обвела сидящих за столом дам, и одна тут же вскочила, направилась к прибору и принялась изучать какую-то шкалу с движущейся стрелкой. — А вон за той дверкой — комната инженеров. Вы потом познакомитесь. А пока — нам сюда.

Она открыла еще одну боковую дверь, и они очутились в крошечном светлом помещении, — огромное окно, равное по площади едва ли не самой комнатке, заливало ее зимним застенчивым солнцем, не бьющим нахально в глаза, а словно подсматривающим сбоку. Узорчатые тени танцевали по стенам, и весело поблескивали на длинном, похожем на верстак столе миниатюрный токарный станок и воинственная газовая горелка — взрослые игрушки в уютной детской комнате.

— Вот здесь будет ваше рабочее место, — сказала, натужно улыбаясь, унылая начальница. — Работы не так уж много: по обслуживанию приборов, если что-то выйдет из строя — гайку заменить, втулку, штуцер; кое-какая мужская работа — у нас здесь все женщины. И вот еще: видите, ящик? Сюда из цеха будут приносить «бой» стекла, а вам придется формировать из него образцы для испытаний. Вот на этой мощной горелке будете оплавливать стекло и превращать в аккуратные образцы, так называемые «колбочки».

— Это дело мне незнакомо, — важно сказал Генка.

— Ничего страшного. Научитесь, никакой сложности нет.

— У вас сменный график?

— Нет, что вы! С девяти до шести и один час обеда. У нас приличная столовая. Так будете оформляться или подумаете?

— А что думать? Мне годится пока.

— Тогда пойдём в цех, все-таки познакомитесь с производством, надо знать, зачем и для чего работаешь. Верно ведь?

Генке в цех идти не хотелось. Там этот закладывающий уши шум, который навеивает неприятные воспоминания. Но, с другой стороны, он никогда не видел, как варят стекло. Это, пожалуй, интересно.

Да, интересно. И странно, что обстановка, деловая обстановка обширного пространства, где люди действительно *занимаются делом*, а не прикидываются честными тру-

жениками, ему приятна, от нее веет не тоской по обманувшей его ожидания жизни, а светлой ностальгической грустью по родному инструментальному цеху.

— Вот ванная печь для варки стекла, вот штамповочные пресса для формирования плиток, вот конвейерная печь для охлаждения, — скороговоркой рассказывала начальница.

— *Печь для охлаждения?* — усмехнулся Генка, демонстрируя свою внимательность и гибкость ума.

— Да, да, — опять едва заметно улыбнулась дама. — Стекло — коварный материал, его нельзя охлаждать резко. А здесь его нагревают и медленно, по специальному режиму охлаждают. Это, конечно, не совсем печь, мы зовем ее «лер».

— Поэтичное имя, — ввернул Генка. — Печь по имени Валерия...

Начальница бросила на него короткий заинтересованный взгляд: не то обнаружила в нем какую-то странность, не то восхитилась его находчивостью и остроумием.

— Ну, Валерией ее не называют. Просто «лер». Кстати, забыла, как вас зовут.

— Геннадий.

— Запомню. А я Татьяна Федоровна Рощина, Прошу любить и жаловать.

«Вот прямо сейчас начну тебя любить и жаловать, не отходя от кассы. Поглядим еще, кто кого будет жаловать».

— Пойдемте дальше, уважаемый Геннадий.

Ванная печь заинтересовала Генку, показалась похожей на мартеновскую для варки стали, которой живьем он не видел, но, как всякий человек с десятиклассным образованием, слышал о ней и представлял по виденным где-то картинкам и кинофильмам. Да что там! О мартеновских печах даже в песнях поется. Генка хотел остановиться около ванной печи, этого ревущего газовыми горелками, булькающего, огнедышащего чудовища, заглянуть внутрь, посмотреть, как оно дышит, как тяжело ходят бока расплавленной стекломассы, урча и отрывая пену. Но милейшая Татьяна Федоровна торопилась, проводила экскурсию коротко и вовсе не для того, чтобы заинтриговать нового работника, но исключительно потому, что *так положено*. «Ладно, — решил Генка, — потом посмотрю, если будет охота», — он совсем не был уверен в желании досконально изучить производство стеклянных плиток: на кой черт они ему сдались?

Но дальше стало действительно интересно, потому что где-то в подкорке промелькнула за короткую долю секунды легкая, как мотылек, мысль, даже не мысль, а шелчок какой-то, сигнал: внимание: это может пригодиться.

— Вот еще одна ванная печь, — тарахтела деловитая начальница. — Здесь в дополнение к основному производству мы производим ширпотреб, это выгодно заводу, а следовательно, нашему государству. Мы делаем вазы, большие и маленькие, кувшины, графины для воды. Ручная работа. Вот посмотрите, какие изделия придумал наш художник.

Ваза из бесцветного прозрачного стекла была выполнена в виде огромной пузатой рюмки. Забавно, но как-то уныло. У Генкиной матери была одна вазочка для конфет, подарили на день рождения сотрудники. Так она же вся переливалась, блестела гранями — любо-дорого смотреть. А здесь что? Ни красоты, ни пользы: ни цветы поставить, ни водку пить.

— Это хрусталь? — с видом знатока спросил Генка. — У нее рисунок должен быть, переливчатый.

— У нас не варят хрустальное стекло. Это производство повышенной вредности. Но вы видите? Из обычного стекла тоже можно делать уникальные вещи. Пойдемте.

— А можно я немного посмотрю?

— Только недолго, время бежит, а дел много.

— Так вы идите, а я посмотрю и приду.

— Нет, нельзя. Это «горячий» цех, а вы еще не ознакомлены с правилами техники безопасности. Ладно, постоим пять минут, коли вы такой любознательный.

Генка смотрел и глаз не мог оторвать от этого волшебства. Крепкий мужик с полуголым торсом, в одной майке, окунает в расплавленную стекломассу длинную металлическую трубку, вытаскивает красный, раскаленный комок и начинает осторожно раскачивать во все стороны, умудряясь удерживать огнедышащую каплю на конце трубки, — как фокусник, четкими продуманными движениями скрывающий от посторонних глаз свои тайные замыслы. Потом движения становятся широкими, размашистыми, капля вытягивается и словно распускает крылья — вот-вот полетит, как маленькая огненная жар-птица. Но нет, не полетишь, дорогая! Утратившая яркость птица на конце трубки опускается на металлическую плоскость — теперь она пленница, безжалостно терзаемая грозным инквизитором, который катает ее по поверхности, бьет, мнет и наконец запихивает, словно выплевывает, в клетку — разъемную форму с накрепко сжатыми створками. Она, бывшая капля, бывшая птица, уже почти смирилась, задохнулась, погасла, но мучения не заканчиваются: злобный инквизитор дует в трубку изо всех сил, вращает ее и покрывается потом, багровея от своей безжалостности. Вот и все, нет больше огненной птицы, нет полета, нет счастья свободы. Смерть... И вот тогда медленно расползаются стенки клетки, и внутри ее, тонкая и прозрачная, красуется душа погибшей птицы, робкая, хрупкая, готовая разбиться от любого толчка и одновременно прочная и долговечная: стеклянный графин ручной работы. Неважно, что в нем нет никаких прибабасов, линии просты и бесхитростны — душа всегда красива, даже если называется грубым словом «ширпотреб».

«Вот это работа! — думал Генка, направляясь в отдел кадров. — Научиться-то можно, только хватило бы сил: вон какой мощный мужик старается, аж потом изошел. А я что? Хлюпик...»

Почему, собственно, хлюпик? Он худой и нескладный, но сильный, к тому же научиться может всему, было бы желание. Пока особого желания нет, хочется покоя и безделья, а там видно будет. Пока поработаем на газовой горелке, в комнате-кладовке, в окружении баб и приборов непонятного назначения. А потом... Смутная мысль о будущей пользе новой работы уже шевелилась в его голове, но он не дал ей хода. Посмотрим...

— Я устроился на работу, — сказал он матери.

— Куда?

— Лаборантом в лабораторию стекла.

— Сколько ж тебе отвалят за такую работу?

— Восемьдесят рублей в месяц.

— Восемьдесят рублей?! — ужаснулась мать. — Ты что, совсем сбрендил? На что жить собираешься?!

— Мне многого не надо, все есть.

— Ишь ты, ему не надо! — взвизгнула мать. — Ему ничего не надо, а мать хоть подыхай. Мне на пенсию скоро...

И вдруг остановилась, плюхнулась на стул и закрыла лицо ладонями. Ну, орала бы она, руками махала, трудно стало бы в комнате дышать, однако спертый воздух тем не менее тоже поддерживает дыхание. Но в этой *мертвой* тишине Генка задохнулся. Он отчетливо представил себе свою мать худой нищей старухой, с неприбранными седыми космами, в рваном платье, с бледными губами и морщинистым лицом. Отвратительная нищая старуха, которая никогда не кричит, а только плачет, вытирая глаза нечистой ладонью, как тогда, давным-давно грязной тряпкой для пола.

Он впервые, кажется, в жизни подошел к ней и обнял за плечи — неумело, осторожно. Он не хотел, чтобы она плакала.

— Это временно, — сказал он почему-то шепотом. — Я найду такую работу, что денег некуда будет девать. Вот увидишь.

— На какой помойке ты ее найдешь? — спокойно спросила она. — Не хотела я тебя рожать, не хотела, как в воду смотрела. Лаборант хренов... — и вытерла глаза чистым носовым платком из кармана фартука.

Глава 5

В первый день Генкиной работы на новом месте случилось в лаборатории ЧП — событие, малоприятное в принципе, но полезное для самого Генки. Загорелся электрический провод одного из приборов. Генка как раз вошел в общую комнату, чтобы рассмотреть приборы, а заодно и красавиц, трудящихся не покладая рук за своими сдвинутыми столами. И вдруг: вспышка, грохот стульев, вопли — дамы кинулись к горящему проводу, заметались, одна, находчивая, кинулась в коридор к ящику, наполненному песком. Генка тут же сориентировался, тоже рванул к ящику, — а там песка на самом доньшке. Он выхватил из рук женщины лопату, поскреб по дну, набрал, сколько мог, побежал обратно, выбросил песок на горящий провод — напрасно, как потушить пламя жалкой щепоткой?

— Там песка нет, — сказал он.

— Как это нет?! — возбужденно прошептала прибежавшая на шум Рощина. — Песок есть всегда.

— Съели, — попробовал пошутить Генка.

— Надо пожарных вызывать! — крикнула из своей двери инженерша и устремилась к телефону.

У Генки разболелась голова, казалось, пламя перекинулось на нее, готовое испепелить, разорвать, уничтожить. Он не мог ни о чем думать, да и некогда было. Подбежал к горящему проводу и быстро-быстро, движением фокусника, провел ладонью по пламени. Что такое фокус? Обман, мелкое мошенничество на радость детям и недоразвитым придуркам взрослым. Фокус-покус. А здесь никакого обмана. Пламя под его быстрой рукой вздрогнуло и пропало, словно растворилось в воздухе или всосалось в землю. Женщины замерли и молча уставились на героя.

— Рука... — простонала начальница. — Ожог... Надо обработать спиртом. Сейчас принесу.

— Не надо, — сказал Генка и слегка подул на пальцы. — Я не обжегся.

Сотрудницы сгрудились вокруг него, рассматривая руку: легкое покраснение, несколько едва заметных пятен.

— Болит? — заботливо спросила Рощина.

— Да ничего же нет, нечему болеть, — слабо улыбнулся Генка, пытаясь преодолеть другую боль, головную, которая была почище мелких укусов пламени.

— А куда песок делся?! — возмущенно воскликнула Рощина. — Что за безобразия? — уставилась она на инженеров. — Почему не проследили?

«А сама-то ты на что? — подумал Генка. — Сгорело бы все, к чертовой матери».

Потом вызвали электрика, Генка ему помогал, одновременно овладевая новыми знаниями.

Когда закончился рабочий день, одна из дам, уважительно глядя на нового работника, спросила:

— Как же так получилось? Рукой потушили и не обожглись?

— Быстрота и натиск, — ответил он.

— Вам надо премию дать за находчивость и героизм.

— Ленинскую, — уточнил Генка, улыбаясь.

В голове его качался туман, но боль прошла — Генка был доволен, неплохо прошел его первый рабочий день.

«Вот это да! — думал он по дороге домой. — Выходит, моя башка на чудеса способна. Может, и кровь могу останавливать? Для медицины полезно».

Дома он хотел попробовать: поранить палец и попробовать остановить кровь. Но вспомнил про головную боль и отказался от этой затеи. Спасибо, не надо...

Генкин поступок — героизм настоящего мужчины — сразу определил его статус на новом месте. Его называли уважительно Геннадий, обращались на «вы», и даже унылая начальница его *любила и жаловала*, что и требовалось доказать. Никто не называл его «Гвоздем», новые коллеги не знали этого прозвища, так что Генка иной раз даже сожалел. А что? Гвоздь — это нечто крепкое, надежное, не отдерешь за просто так. Хотя, конечно, и обидное, но все зависит от того, какой смысл вкладывать в слова. «Гвоздик» тоже неплохо звучит, но это неприятная тема.

Тема женщин вообще его чрезвычайно интересовала, особенно если целый день пасешься в таком «цветнике»: восемь девок, один я. Восемь гражданок: начальница, три инженерши, четыре лаборантки. Ну, инженерши, сидящие в отдельной комнате, были малодоступны, и Генка недоумевал, что они там делают за закрытыми дверями и что вообще можно делать технически грамотному человеку, если приборы работают, а неумомимые лаборантки тщательно записывают их показания в конторских книгах. Однажды, меняя втулку на одном из приборов, он услышал разговор инженеров между собой. Ясное дело. Они все были довольно молодыми, семейными, стало быть, озабоченными. Мужья, дети, зарплата — о чем еще говорить? О научных разработках? Смешно. Можно еще о любовниках, но это уж не в коллективе, а на ушко друг другу.

В общем, инженеры были Генке не интересны. Другое дело — лаборантки, тоже молодые, но незамужние. Трое — красивые, лет под тридцать, с такими *ищущими* глазами, вспыхивающими интересом при появлении на горизонте всякого случайного мужчины. Когда Генка в первый раз зашел в лабораторию, он заметил в их взглядах специфическое любопытство, по которому сразу определил: замуж хотят, ищут и надеются. Но все-таки... Все-таки, что там говорить, не увидели они в нем своего суженого, уважали, конечно, а насчет любви... Не стоит и пробовать.

Зато четвертая, самая молодая, Генкина ровесница, пожалуй, стоила его внимания. Не расфуфыренная, не размалеванная, никого, похоже, не ищущая — скромная. Но дело не в скромности. Он, вообще-то, предпочел бы более эффектную женщину и постарше, из тех троих, общение с которыми ему не светило. А эта... Он быстро приспособился к климату своего нового трудового коллектива, хотя климат оказался не очень здоровым. Ему, в принципе, было все равно, он чувствовал себя закаленным парнем, не хлюпающим носом от непогоды, но умел распознавать перемену ветров и приближение ливня. Здесь, в лаборатории, при видимой чистоте неба и удручающем на первый взгляд штиле, постоянно пряталась коварная буря, готовая разразиться неожиданно и разрушающе. Причиной же бури, служил тайфун, носящий, как принято, женское имя. В данном случае он назывался Полиной, по имени этой самой скромной молодой девицы.

Чего они не поделили — этого Генка так до конца и не понял. Он пришел в лабораторию, когда там уже установился климат неприязни и злобы, но не тот скандальный случай всеобщей склоки, ссор и перебранки, а стойкое надежное единение — все против одного. Конечно, вредной была эта Полина, неуступчивой, грубила всем, включая начальницу, но пренебрежение, полное игнорирование, бойкот — и все против одной! Что такое она натворила? Наушничала, подличала, нарочно искажала результа-

ты испытаний? По разговорам дам Генка понял, что именно так оно и было. Только вопрос: кто первым начал? Может, она так отвечала на нападки?

Не то что Генка ее пожалел, но почувствовал, как говорится, родство душ. Эта Полина, как он сам, была изгоем...

Он быстро научился выплавлять из битого стекла «колбы» для испытаний, иногда вытачивал мелкие детали на лабораторном токарном станке, но работы как-то не хватало. Он скучал. Однажды пошел в цех и долго стоял около ванной печи, смотрел, как крепкий мужик в майке творит свое волшебство, высвобождая душу из пропитанной огнем стеклянной капли. Ну, что за глупость — тупо превращать битое стекло в бездушные «колбы», все на одно лицо, и только для того, чтобы умные приборы их тут же снова превратили в «бой». А что если?..

Он подошел к металлическому ящику для «боя», любовался разноцветными осколками, осторожно опустил вниз руку и выбрал несколько, самых красивых: синий, коричневый, зеленый и бесцветный.

— Молодой человек, что это вы тут воруете? — остановил его мужской голос.

— Ворую? — не понял Генка. — Я же не вазы взял, а осколки. Все равно выбрасывать, — и насмешливо улыбнулся.

— Вы кто такой? — спросил человек в синем халате, наверно, мастер.

— Рабочий лаборатории.

— Недавно работаете?

— Скоро месяц.

— В лаборатории «бой» закончился? Пусть Рощина подаст заявку, мы принесем.

— Да нет, это я так, для себя.

— Для себя?! Вот ведь работники! Нет бы объяснить новому человеку, что к чему, а то приходит, ворует и лыбится.

— Да чего я тут ворую?! — возмутился Генка. — Мусор.

— Нет, молодой человек, это не мусор. Это двадцать процентов стекольной шихты, без добавки «боя» никакое стекло не сварить, Материал, кстати, дефицитный, своего не хватает, приходится покупать на стороне. А вы — мусор! Кладите обратно все, что взяли, и познакомьтесь все-таки с технологией варки стекла. Нельзя работать вслепую.

— Ладно, познакомлюсь, — миролюбиво произнес Генка.

«Познакомлюсь, а как же? — думал он, возвращаясь на свое рабочее место. — Приду, похожу, поинтересуюсь, а ваш дефицитный материал умыкну так, что никто не заметит. Пара пустых».

Так он и поступил. Проходя мимо боехранилища, на ходу, легко, словно пыль с комода, смахнул в глубокий карман рабочего халата разноцветные стекляшки, и был таков. «Дефицитный материал надо под замком хранить, — мысленно потешался он. — А то еще найдутся фокусники, вроде меня. Хотя где они найдутся? — похвастал он сам перед собой. — Не всякий так сможет».

А зачем, собственно, ему нужен был этот «мусор»? Толком он еще не знал. Вернее, предполагал и даже чувствовал возбуждение, которое всегда будоражило его на пороге новой затеи. Но он пока не знал, сможет ли. Не пробовал еще. Однако, если вспомнить, на коньках, например, он научился бегать за один день. И «колбы» эти дурацкие, как пельмени, валял. Хотя то, что он сейчас задумал, будет похитрее. То, что он задумал, называлось *искусством*. Но ничего, фокусы показывать — тоже искусство. Все, что нужно, есть: держатель, шпатель, щипцы, металлическая доска для обкатывания — инструменты, помогающие выплавлять «колбы». И, конечно, мощная, ревушая, как зверь, газовая горелка. Но две проблемы напрягали: во-первых, опасение, что кто-то

войдет в его каморку и поймает за посторонним делом. Хотя это вряд ли, редко кто к нему заглядывал. А вот вторая проблема была существенной. Генка никогда не рисовал и не лепил, тем более лепить из стекла — это как? Хорошо стеклодуву: за него чугунная форма лепит, знай дуи в трубку.

Он принес из дому свою старую детскую книжку, долго перелистывал, изучал иллюстрации, потом решил: взял щипцами осколок, размягчил в пламени и начал лепить из мягкого стекла свое первое *произведение искусства* — ежика из детской книжки. Ежик оказался кособоким и невыразительным. Ничего, ничего, получится, обязательно получится. Правильно говорят: первый блин комом. Он «нажарил» еще парочку уродцев и наконец получил желаемое. Чудо! Зверек из прозрачного стекла, с коричневыми оплавленными бугорками иголок и большими зелеными глазами. Потом Генка вспомнил, что стекло надо охлаждать медленно, соорудил на столе нечто вроде домика из металлических обрезков и сунул туда свой шедевр, мысленно приговаривая: полежи, отдохни, вспотел ты, брат. К обеду зверек был жив и здоров, бодр и весел, иголками не кололся, пыхтеть — не пыхтел, но озорно поблескивал большими зелеными глазами — сейчас убегу, мол. «Не убежишь, — сказал ему скульптор. — Мы тебя пристроим в хорошие руки».

Насчет «хороших рук» он не был уверен. Дыма без огня не бывает, может, скромница Полина — дрянь последняя, но когда все против одного — это несправедливо. Семеро одного не бьют, слишком больно получается, так и убить недолго.

Когда все сотрудники ушли в столовую, а Полина осталась, как обычно, у своего стола жевать бутерброды, Генка вошел в общую комнату, деловито осмотрел снаружи и изнутри лабораторную муфельную печь, отыскивая несуществующие неполадки, и приблизился к девушке.

— Ты бы водички попила или чайник вскипятила. Подавишься всухомятку.

— Не твое дело, — буркнула она, продолжая жевать.

— Точно, не мое. Только смотри, как бы твою колбасу не умыкнули. Бегают тут всякие звери.

— А ты не бегай, — хмыкнула девушка. — Иди в свою конуру и там твякай.

— Я-то уйду, а вот *он* тебя голодной оставит.

Ежик с зелеными глазами заскользил по столу и уперся носом в бутерброд

— Ой! — взвизгнула Полина и улыбнулась.

Улыбка получилась хорошая, все зубы белые, ровные — загляденье. Генка никогда не видел ее улыбающейся. Приятный сюрприз...

— Бери. Это тебе.

Она прогнала улыбку, словно отмахнулась от назойливого комара, и опустила глаза:

— Знаем мы ваши поделки-проделки. Забирай свое животное и убирайся вместе с ним.

— Да ладно тебе. Что ты такая колючая, хуже моего ежика. Я его для тебя сработал, хотел, чтобы ты улыбнулась. Вон какая у тебя улыбка красивая.

Полина подняла глаза. В них светилось недоверие.

— Поставь дома этого красавца под стекло в серванте. Смотри на него и улыбайся, — сказал Генка.

Она взяла игрушку в руки, погладила.

— Правда, не колется.

— Ну, я же говорю. Он добрый парень.

И пошел в столовую. Улыбкой сыт не будешь.

Глава 6

Теперь он знал, чего хочет. Во-первых, деньги, оказывается, все-таки нужны, на восемьдесят рэ в месяц мужчина, даже такой хлипкий, как он, не проживет. Надо принимать меры. Обозначилась перспектива, ее необходимо было осваивать, очищать от тумана и идти вперед к светлой цели. *Укрощение стекла* — вот как пафосно сформулировал Генка свою ближайшую задачу. Укрощение — великое дело, это участь сильного мужчины, подчиняющего себе мир. Внутри великого дела Генка поместил дело, более мелкое, как дрессировщик диких зверей, отвлекающийся для передышки на обучение и подчинение маленьких собачек. Правильно, маленькая собачка, — вот кто она, агрессивная Полина. Мелкая, жалкая, забитая, но кусачая собачка, ее надо приласкать и подчинить, пользуясь в том числе *укрощенным стеклом*. Такие запутанные мысли мелькали у Генки в голове, даже не мелькали, а кружились, как кольцо хула-хуп вокруг гибкого тела. Одно общее кольцо, одна большая мысль, он вращал ее сначала тяжело, потом быстрее, не давая упасть и не делая остановки.

Он научился работать быстро и точно, держать симметрию и прилеплять детали изделия одним движением. Плохо, что приходилось опасаться быть пойманным, постоянное напряжение мешало *творчеству*. Тогда он придумал правду. Если застанут за посторонним делом, он скажет, что готовит в свободное от работы время подарки для коллег к Первомаю. Но тогда уж придется дарить, а дарить он не собирался, только Полине.

Он вылепил кудрявую марганцового цвета собачку, кольца стеклянной шерсти легли, как живые, и переливались. Такая получилась красавица, что и отдавать не хотелось. Но надо.

Генка не стал дарить девушке игрушку на работе. Он подождал Полину у ворот завода, и когда увидел ее, подошел, делая вид, что запыхался.

— Не заметил, как ты ушла, еле догнал. Хотел подарить тебе свою новую работу, может, понравится? — и вытащил собачку из ворота ее пальто.

Он понял, что фокус Полине понравился, но ему самому стало как-то грустно, вспомнил Катю. «Дуры девчонки, покажи палец — они радуются и смеются. Ладно, дальше будем обходиться без фокусов. Статуэтка из стекла — это тебе не шоколадка».

— За что ты меня все одариваешь? — недоверчиво спросила Полина, поглаживая гладкую собачью спинку.

— Да не знаю. Сочувствую тебе. Все на тебя ополчились. За что?

— За язык. Они строят из себя, а я в детдоме выросла, жизнь научила за себя бороться, а то сядут и поедут, ножки свесив.

— Ишь ты, гордая, значит.

— Да, гордая, — она вскинула голову и прищурилась.

— Плохо одной-то, — осторожно сказал Генка. — Или у тебя парень есть?

— Тебе-то какое дело? И вообще, что ты за мной увязался?

— А мне такие нравятся, гордые. Ладно, пойду тогда, — и пошел в сторону, засунув руки в карманы. Он тоже гордый...

— У меня нет парня, — негромко произнесла Полина ему в спину.

Он тут же вернулся, опять пошел рядом.

— Это другое дело. Буду твоим рыцарем.

— Тоже мне рыцарь, — усмехнулась она.

— Да уж какой есть.

— Не обижайся. Вот мы пришли, — она остановилась возле парадной двери. — Зайдешь?

Ничего себе! Так сразу? Нет, так он не хотел, не мог. Он должен был обдумать, превратить стратегию в тактику, составить план.

— В другой раз, — небрежно бросил он и заспешил прочь, подальше от искушения. Не время пока. Он должен был овладеть новым делом, наладить «производство». Искусство должно полностью овладевать художником, поглощать все его чувства. Теперь он художник или скульптор — творец. «Вот успокоюсь, попривыкну, тогда и займусь как следует этой красавицей Полиной. Все-таки жалко ее. Но гордая, независимая. Голову вскидывает, глаза шурит... А улыбка красивая...»

В маленьком шкафчике бережно, поштучно, как нежные ранимые персики, завернутые в папиросную бумагу, хранились плоды его вдохновения и труда: зайчики, мишки, кошечки и другие представители мелкой фауны, скопированные с рисунков из детской книги. Был среди них один настоящий шедевр — павлин с распущенным разноцветным хвостом. Генка умудрился аккуратно оплавить края каждого пера — изделие должно быть безопасным. Он любовался своим красавцем, хотел подарить его Полине, но не стал: павлин будет главным экспонатом его коллекции.

Приближалась весна, в природе шла борьба добра со злом, но где добро, где зло — не всегда определишь с первого взгляда. Снег или дождь — что хорошо, что плохо? Мороз или солнце — что красивее? «Мороз и солнце — день чудесный». Потому и чудесный, что все вместе, выбирать не надо. Это называется *гармонией*. Генка, впрочем, не умел мыслить умными словами, но он умел *ощущать*. Он ощущал бьющее по глазам солнце и тревожно бодрящий мороз; дождь, падающий за ворот, и снег, покалывающий щеки; траву, щекочущую через подошвы ноги, и фальшиво улыбающуюся грязь, сторонящуюся его движения. Он ощущал добро и зло, но не по отдельности, а всегда туго сплетенными вместе, как канат из грубого шелка, одним концом зарытый в землю, а другим царапающий небо. Он ощущал *жизнь*, однако не знал, не понимал, не чувствовал *любви*, даже не других людей к себе, хоть и хотелось бы, но это ладно, он привык быть нелюбимым. Но любить самому... Не в лесу он родился, не в пещере, а в крупном городе, до краев наполненном чьей-то любовью, с которой он почему-то не соприкасался. Весна будоражила с каждым годом все сильнее и острее этой тайной жизни, которая источает ароматы и раскрывается не как медленный задумчивый цветок или ленивые почки на деревьях, а как внезапно зазеленевший газон, вдруг однажды с утра вспыхнувший невысоким, стелющимся по земле фисташковым пламенем. В этот момент все кажется простым и понятным, любовь волнует траву легким движением ветра, и можно ее поймать. Генка понимал, что поймает, только не знал когда.

Полина, забитая девушка, которую он жалел, появилась перед его глазами, как мелкая, невзрачная, но позолоченная солнцем капля мать-и-мачехи на волнующейся траве вспыхнувшего газона. Генка, как всегда, не торопился, дарить девушке свои поделки не спешил, в общую комнату лаборатории заходил редко и только по делу, но иногда, *случайно* увидев ее по дороге домой, несколько кварталов шел рядом и, что называется, трепался. Он обнаружил в себе способность безостановочно, с умным лицом нести всякую чушь, вкрапляя в нее нотки юмора и насмешек. Иногда он даже удивлялся, как гладко льется его речь и как легко удается ему насмешить эту невеселую девчонку или расцветить улыбкой ее неяркое лицо.

Порой Генка все-таки доводил ее до дома, благо недалеко, и ждал, что пригласит, хотя не совсем был готов откликнуться на приглашение. Но ждал. Она не приглашала. Когда он почувствовал, что созрел для новых отношений, — не стоило дольше тянуть, надо было действовать. Он отступил от решения не завоевывать внимание к себе фокусам, потому что другой возможности пока не видел.

Они шли рядом в сторону ее дома, Генка рассказывал сочиненную на ходу байку о том, как однажды заблудился в лесу и вышел на дорогу только потому, что определил

в траве следы собачьих лап и шерсти и, как следопыт, зорким взглядом и чутким нюхом проложил себе дорогу к спасению.

День выдался солнечный и ветреный, ветер нервировал, а солнце успокаивало, и получалось, что в мире опять царила гармония, когда человек совершает правильные и полезные для себя поступки.

— Хочешь, понесу твою сумку? Тяжелая ведь, — сказал Генка.

— Нисколько она не тяжелая.

— Ну да! Женщины всегда таскают всякую ерунду, — он с легким усилием отобрал у Полины объемистую сумку. — Я же говорил! У тебя кирпичи там, что ли? Воруешь поштучно на заводе? Дом новый строишь, как — помнишь? — какой-то герой из сказки про Чиполлино?

— Ничего я не строю, — улыбнулась девушка. — Отдай мою торбу, трепач.

— Бери. Смотри не надорвись.

Она взяла сумку, покачала, прикидывая вес, нахмурилась.

— Что-то тяжеловатая.

— Посмотри. Что ты сунула туда? Или давай я посмотрю.

— Отстань со своими глупостями.

— Ну, девушка, ну, дайте свой *ридикульчик*, я посмотреть хочу, — заныл Генка.

— Еще не хватало! — промолвила она, раскрывая сумку. — Пакет какой-то... Это твои шуточки, рыцарь?

— А что там?

Она вытащила увесистый целлофановый пакет, приоткрыла.

— Пирожные! Когда ты успел?

— А они сами туда впрыгнули. Может, пригласишь чайку попить? Куда тебе одной столько пирожных, живот заболит.

— Ну, пошли.

Квартира оказалась крошечной: комнатка и миниатюрная кухня, ванная комната, совмещенная с туалетом, унитаз упирался в борт сидячей ванны, а прихожая выглядела почти неуловимой — два шага налево, два шага направо. Однако комната казалась чистой, даже уютной: покрывало на диване, расшитая цветами скатерть на столе, в центре — стеклянная ваза светло-фиолетового цвета. Под вазой отдыхали симпатичные, знакомые Генке до боли ежик и собачка. Он отметил этот факт сразу и с удовольствием.

— Это наша ваза? Заводская? — ухмыляясь, спросил он. — Украла?

— Ничего я не крада. Попросила, и дали. Подарил стеклодув.

— Ухажер твой? — прищурился Генка.

— Никакой не ухажер. Ваза бракованная, видишь, камушек и пузырек на стенке? Почему сразу украла?

— Я пошутил.

— Пойду поставлю чайник.

— Давай, — сказал Генка, неловко схватил ее за талию, прижал к себе и слегка подтолкнул к дивану. — Диванчик-то маленький, как ты с ним управляешься? Или раздвижной?

— Нет... Подожди, куда ты так спешишь, Геша? Попьем чаю...

Геша... От этого «Геши» он как следует раззадорился.

— Потом... Будет тебе и шампанское, и кофе, и какао с чаем, — задыхаясь, прошептал он, неумело расстегивая пуговицы на ее кофточке.

Генка привык долго ко всему готовиться, но уж если брался, делал быстро и качественно. Может быть, сейчас был единственный случай, когда качество уступило скорости.

— Мог бы сдержаться, — недовольно процедила Полина, — Женщине одной минуты мало. Не знаешь, что ли?

Он знал, но ничего не умел и до этой минуты не особенно хотел. Он просто решил, что пора. Что-то такое не очень понятное он почувствовал, когда увидел ее без пальто и рабочего халата: глубокий вырез кофточки, острая ключица и белая ляпка лифчика. Его взбудоражил этот «натюрморт», а тут еще «Геша», как острая приправа к незнакомому блюду. Да, надо было потерпеть, сдержать внезапно нахлынувшую страсть, довести даму до кондиции, — теоретически он это знал и мог, потому что он мог все, просто не успел подумать.

— Извини, исправлюсь, — сказал он. — А ты часто этим занимаешься?

— Чем?

— Ну, этим... с мужчинами.

— Иногда, от случая к случаю.

— А давно начала?

— Давно, в четырнадцать лет. Меня мальчик в детдоме изнасиловал.

— И тебе понравилось?

— Нет. А что было делать? Пожаловаться некому, да и стыдно, скажут, сама виновата, в тебе материнские гены играют, развратная ты, мол.

— А мои *Гены* в тебе не играют?

— Научись сначала с женщинами обращаться, а то строишь из себя кобеля, а сам — тых-тых, и на боковую.

— Ну, ты не очень-то, я ведь могу обидеться.

— Нечего тебе обижаться. Давай пить чай, а потом я займусь твоим неполным средним образованием.

— Лучше полным и высшим, — засмеялся Генка, поглаживая ее грудь и чувствуя новую готовность к бою. — А эта лилипутка у тебя откуда? — спросил он за чаем. — Откуда такая квартира?

— Так дали, когда уходила из детдома. По закону нам всем полагается. Другим достаются только комнаты, да такие, что и жить в них человеку стыдно. А мы разве люди? Детдомовское отродье. Некоторые вообще ничего не получают, бегают потом, выпрашивают, как милостыню. А мне повезло. Вот эта квартира. Стояла, никому не нужная, мне и подсунули. Все завидовали. Счастливая ты, Поля, говорили. Как же! Счастливая я...

— А мать умерла?

— Кто ее знает? Пьяница она, распутная, меня в роддоме оставила.

— Найти ее не хочешь?

— Зачем искать-то?

— Ну, может, помощь твоя ей нужна?

— Какая помощь? Водку покупать и хахалей ее обслуживать? Только этой радости мне и не хватало.

— Жалко. Мать все-таки... А отца тоже нет?

— Отец — заезжий молодец. Она, поди, и сама не знает, чей я подарок.

— У меня тоже нет отца

— А он кто?

Генка хотел соврать, как Кате, что его отец — артист цирка, фокусник. Но почему-то сказал:

— Не знаю...

Жалко. Почему так: его никто не любит, а ему всех жалко? И Полину, и ее мать, и свою мать, родившую такого неудачного сына. Жалость, которая внезапно заливает грудь изнутри, как расплавленное раскаленное стекло, и пузырится, и бурлит, и хо-

чется закричать от боли, выхватить из себя огненный ком и терзать его, мять, чтобы наконец выпустить на свободу душу.

— Мне, наверно, пора уходить, — сказал Генка.

— Зачем? Можешь остаться, утром на работу вместе пойдем.

— Нет, вместе не стоит, женщины начнут прикалываться. Да и как у тебя заночуешь? Диванчик-то маленький. Вот купим новый, тогда...

— *Купим?* — недоверчиво спросила Полина.

— Премию дадут, и купим вместе.

Она подошла, уткнулась головой в Генкино плечо. Он погладил девушку по волосам. Жалко, ух ты, до чего жалко. Хоть плачь.

Он называл ее *Полюшко*. Именно, не *Полюшка*, а *Полюшко*, неосознанно угадывая в этом не то имени, не то прозвище тайный смысл одиночества и простора. Когда Генка видел перед собой распахнутое поле — пусть даже не наяву, а, например, в кино, — его всегда охватывала грусть от бесконечного живого пространства, в котором нет никого, кроме равнодушных птиц, отдавшихся во власть полета, и ветра, не ведающего преград на своем свободном пути. Свобода и одиночество... *Полюшко*...

Ничего особенного в Полине не было, разве что улыбка в тридцать два зуба. Но одиночество и свобода, выкованные в ее характере трудным детством и проявляющиеся — для всех — в грубости, вредности и унынии, казались Генке чудом стойкости и женской красоты и, перевязанные, как шелковой лентой, его жалостью, превратились в ценный подарок, который просто так, за здорово живешь отпустила ему судьба.

Они скрывали свои отношения от насмешливых лабораторных дам, но зоркий взгляд мог бы заметить перемены в ершистой Полине и отчужденном замкнутом Геннадии, если бы, конечно, зоркость взгляда лабораторного сообщества нерационально расходовалась на эту малосимпатичную пару. Паре, впрочем, всеобщее равнодушие было только на руку. Они жили в своем маленьком мире, огражденном от общего *мира людей* странным чувством, которое, возможно, называлось любовью, возможно, слиянием душ, а такое слияние даже у любящих друг друга людей случается нечасто, дефицит же, как известно, всегда приобретает повышенную ценность.

Не то чтобы Генка летал на крыльях восторга или тем более счастья. Не таким он был человеком, чтобы отдаваться естественным человеческим ощущениям в ущерб поставленной перед собой цели. Просто в его жизнь, окрашенную прежде цветом маренго, добавилась яркая краска, да и яркая-то только для него самого, потому что он родился фокусником и мог выпускать голубей из пустого цилиндра. Фокус-покус. Возможно, Полина играла в этом фокусе роль ассистентки. Но играла хорошо, искренне, — Генка понимал ее искренность и был благодарен своему *Полюшку*. Свобода, одиночество, благодарность, жалость и улыбка в тридцать два зуба — вполне достаточно знаков, чтобы неискушенный человек, подобно бедному замороженному Каю из «Снежной королевы», мог сложить из льдинок магическое слово *Любовь*. Все-таки любовь...

Разумеется, они купили новый диван, который занял собой почти всю комнату, так что, встречаясь, они большую часть времени проводили на этом располагающем к острым ощущениям месте, а потом сидели на пятиметровой кухне и объедались пельменями или омлетом. Когда были деньги, Полина готовила мясо, а по выходным жарила котлеты с картофельным пюре, и получалось не хуже, чем у Генкиной матери, которая, поняв, что сын затеял какие-то дела на стороне, помалкивала и пока приглядывалась, лишь изредка изрыгая проклятия на свою нищенскую долю. Так, в пространство, чтобы ее придурок не расслаблялся. Она не знала, что Генка скоро выбьется в люди и сделает это ради нее. Из жалости.

А Генка работал. День за днем, рискуя быть уличенным и наказанным унылой, но грозной Рощиной, он создавал свою коллекцию, совершенствуя точность и быстроту, укрощая агрессивное стекло и заставляя его служить мирному и доброму *искусству*. Он не рассказывал Полине о своей тайной работе и планах на будущее, но иногда дарил ей одну из фигурок, если изделие казалось ему недостаточно совершенным. На столе в ее комнате уже красовалось целое стадо мелких зверушек, их, конечно, не стыдно было поставить в сервант, на выставку, как ставят напоказ хрустальные рюмки тщеславные люди, которым нечем гордиться, кроме мнимого богатства. Жаль, что у Полины не было серванта.

Генка чувствовал себя неплохо. Иногда, бросая взгляд в зеркало, он с легким сожалением получал очередное подтверждение поговорки «горбатого могила исправит», но при этом отмечал увеличение своего роста и стройность худой, но ладной фигуры. А что еще мужчине надо? Кроме того, он давно овладел интимным ремеслом мужчины, которое тоже можно назвать «творчеством», если иметь в виду разнообразие приемов и уникальность окраски каждого отдельно взятого случая. Как бы то ни было, опытная Полина была довольна своим другом, его покладистостью, готовностью прийти на помощь и шутливым отношением к серьезным вещам. Фокусов он не показывал.

Однажды, расслабившись на новом диване, он рассказал о себе, своем детстве и отрочестве, но умудрился так расставить действующие лица, что получилась вполне светлая история, в которой даже постоянно орущая мать выглядела человеком стойким, работающим и со связями во всех областях жизни. Да так ведь оно и было! Надо только повернуть картинку правильно, чтобы солнце отражалось нужным боком, а Генка научился искусству управления светом, работая с податливым, бликующим стеклом. Рассказывая, он все-таки немного увлекся, можно сказать — проговорился:

- У меня кличка была. Гвоздь.
- Почему «гвоздь»?
- Ну, гвоздь... Крепкий такой, надежный, сильный.
- Ой, правда! Ты и похож на гвоздь. Фигурой, макушкой, — Полина поняла его все-таки неправильно. — Я тоже буду звать тебя Гвоздем.
- Ни в коем случае. У меня имя есть, Геша. Мне нравится, — он обнял девушку и поцеловал нежно, как только умел.

Глава 7

Последнее десятилетие двадцатого века выдалось в стране озорным, хлопотливым, открывало широкие горизонты перед теми, у кого варила голова: могла сварить щи из топора и обменять трусы на часы.

Каждый день Генка выносил с завода свои новые творения, дома аккуратно укладывал их в большую дорожную сумку и прятал в кладовке, где хранились старые чемоданы, набитые никому не нужными отходами жизни, которые мать по старой советской привычке не выбрасывала на случай внезапных катаклизмов. Здесь было надежное хранилище, скрывающее от посторонних глаз Генкину тайну. Изделий скопилось много, пора было приступать к *новой работе*...

Генка взял свою сумку и маленький складной столик, который случайно нашел на помойке. Воскресным летним вечером у выхода одной из петербургских станций метро он выбрал удобную позицию: на виду у потока возвращающихся с дач и пикников граждан разложил на столике стеклянные шедевры и стал ждать, равнодушно поглядывая на спешащих мимо своих будущих поклонников и почитателей. Ждать пришлось недолго. Уже через минуту около его выставки скопилась небольшая кучка людей. Они рассматривали симпатичных зверушек, брали в руки, улыбались, спрашивали це-

ну, но не покупали: трудное время, зачем бросать деньги на ветер? Потом какой-то чудака хапанул курочку и петуха — Генка почему-то представил, как он дарит своей подруге эту парочку, похотливо ухмыляясь. Чудака чудаком, но больше желающих делать символические подарки не нашлось. Опять получился комом первый блин, и опять Генка не потерял присутствия духа. Он вылепил зеленого крокодила и бурого бегемота: крокодила сделал страшным, бегемота — смешным. В следующий выходной пришел на то же место, поставил африканских зверей на передний план и был вознагражден. Их не только приобрела, улыбаясь, дамочка пожилых лет в шляпке и кисейных перчатках, но и возник некоторый спор между нею и другой дамочкой, без шляпки и перчаток, но в очках: кто, собственно, подошел первым? Генка миролюбиво пресек склоку, *сердечно* посоветовал:

— Возьмите этого слона, он приносит счастье.

Дама в очках послушалась совета, а Генка прикинул, что кое-что уже заработал, потому что крокодил и бегемот стоили дорого — сложная эксклюзивная работа.

В общем, торговля шла ни шатко ни валко. Ясно было — надо что-то придумать, надо завлекать покупателей. Однако зачем же завлекать? Около его столика по-прежнему кучковались заинтересованные лица, но интерес купить проявляли немногие. И Генка стал показывать фокусы. То вдруг из рук потенциального покупателя изделие исчезало и оказывалось где-то позади выставленной для обозрения шеренги; то вещичка, которую только что рассматривала интеллигентного вида дама, оказывалась у нее в кармане или в кармане ее соседа, ждущего своей очереди; то все стадо самопроизвольно сдвигалось вбок, а на освободившемся месте возникала жанровая картинка, состоящая из веселых дуэтов: две упершиеся друг в друга носами собачки, кошка, готовящая поймать мышшь, лиса, алчно смотрящая на зайца. Люди, удивившись на миг, мгновенно понимали, что здесь, перед их глазами и бесплатно, дается представление, а плавно размахивающий руками худой парень с головой, похожей на шляпку гвоздя, — фокусник, да еще какой ловкий! Под воздействием магической силы искусства отступали жадность и бережливость, да и жизнь хоть на несколько минут становилась красивой и радостной. Случайные прохожие, задержавшиеся у столика с игрушками, уносили с собой частицу этой радости — сувенир, наполненный светом, переливающийся разноцветными красками.

Торговля становилась такой бойкой, что Генка осторожно повысил цену на каждое изделие, потом опять повысил — и ничего, товар брали, можно сказать, хватали. Появились опасения, что богатая коллекция вот-вот обнищает. Надо было ее пополнять, и как можно быстрее. Он научился работать почти автоматически, но вдохновение не покидало мастера, изменилась лишь причина творческого порыва: не желание *создать* двигало теперь художником, а счастье *продать*, много и дорого, хотя сначала не в деньгах пряталось это счастье, а в осознании своих возможностей, своего умения достичь поставленной цели, тем более что когда много денег — это всегда хорошо.

При такой ситуации работать урывками, постоянно опасаясь разоблачения, было трудно и недостаточно эффективно. Генка украл у начальницы ключ от лаборатории, по выходным легко и стремительно, пробегая мимо круглосуточно грохочущего цеха, взлетал по лестнице вверх, усаживался на свое рабочее место и предавался вдохновению человека, который знает, чего хочет, и может все, что задумал.

Он вылепил целую стаю бабочек, мотыльков и жучков, приделал с тыльных сторон медные застёжки и вручал «брошки» в подарок каждому покупателю, приобретшему более трех стеклянных статуэток. Однажды к нему подошел ленивый милиционер, поинтересовался, что это за бойкая торговля возникла, как из-под земли, около станции метро. Генка поболтал с ним, подарил кое-что, не забыв вытащить это «кое-что» из рукава его форменной куртки, и служитель порядка, полюбовавшись некоторое

время на представление, отошел довольный. В общем, незаконная торговля в людном месте законом, по всей видимости, подавляться не собиралась. Хуже обстояло дело с беззаконием. Когда некий неприметный гражданин намекнул Генке, что *надо делиться*, творец без лишних слов отдал новому «соавтору» всю выручку и на следующий день перенес свою торговую точку к другой станции, понимая, что долго не продержится и вряд ли его бизнес имеет шансы для длительного существования и развития. Впрочем, к тому времени он хорошо заработал, устал и немного охладел как к искусству торговли, так и к процессу ваяния.

Генка торговал все лето. Каждые выходные, закрывшись в лаборатории, он отдавал себя новому и, как оказалось, нелегкому ремеслу, а вечером, гонимый вдохновением успешного торговца, мчался к метро показывать фокусы и делать деньги. Он перестал ходить во время обеда в столовую, и Полина, заметив это, вошла однажды в его камеру, так что он едва успел выключить горелку и испуганно оглянулся на дверь.

— Геша, ты почему кушать не ходишь? — заботливо спросила она.

— Учусь. Осваиваю профессию стеклодува. Надоело жить на гроши, — раздраженно ответил он. — Не мешай, закрой дверь.

— Так ведь голодный, отощаешь. Давай принесу тебе бутербродик.

— Закрой дверь, я сказал, — гаркнул он.

Он теперь нередко на нее покрикивал. Жалость куда-то подевалась, да и с какой стати жалеть девчонку, когда такой классный парень опекает ее и развлекает. Ну, не очень-то он развлекал свое Полюшко, не хватало времени, и желание как-то притупилось под воздействием постоянного творческого возбуждения. Редкость встреч с девушкой он компенсировал недорогими подарками и оправдывал нездоровьем матери, которая на самом деле была не только здорова, но даже вполне довольна своим неудачным сыном, снова приносящим в дом приличные деньги.

— Откуда взял? — спрашивала она. — Может, воруешь?

Он не стал врать, что выбился в начальники цеха, — она бы все равно не поверила. Он ответил расплывчато:

— Ценным работником заделался.

— Чего ты там ценного наработал в своей лаборатории, специалист хренов?

— Тебе не понять. Стекло — дело тонкое.

— Где уж нам уж, — отмахнулась мать и отстала: не все ли равно, за что ему плотят, лишь бы не крал.

Всех денег он, разумеется, не отдавал. Он хотел *пожить для себя*, вознаградить себя за праведные труды. Иногда ходил в рестораны, чаще один, без Полины: ел, немного пил и танцевал с *роскошными* женщинами, наслаждаясь атмосферой праздности и богатой красоты, чувствуя себя частью другой, не своей жизни, которая непременно станет *своей*, потому что он этого *хочет*. Он танцевал, полностью отдаваясь танцу, и был так гибок и пластичен, так легко распоряжался своим худым телом, что нередко танцующие отступали в стороны и стояли, любуясь его танцем, — он снова давал представление.

Девушка выходила из метро в воскресной толпе, но Генка ее заметил, словно выхватил глазами из общей разноцветной массы грибников и дачников. Вид у нее был какой-то не дачный, деловой: юбка, пиджак, блузка, туфли на каблуках, в руках — сумка-портфель. Этакая бизнесвумен, приехавшая на совещание в Питер из какого-нибудь Урюпинска. Она прошла уверенной походкой мимо его столика, даже не повернув головы в сторону кучки оживленных граждан, которая привлекала внимание почти всех прохожих сама по себе, как всякое людское скопище, собравшееся по неизвест-

ному поводу. Девушка не торопилась, а просто шла быстрым шагом и, скорее всего, по делу. Генка и подумать не успел, как услышал свой собственный голос:

— Девушка, подождите, не спешите так. Будьте любезны, подойдите сюда.

— Вы мне? — удивилась она.

— Да, да, на минутку.

— Ну, что вы хотите? — недовольно спросила она, приблизившись.

— У вас в сумочке очень важный подарок для меня, а вы забыли и проходите мимо.

— Что вы несете, юноша? — возмутилась девушка. — Я вас знать не знаю, а вы меня никогда не видели, — она повернулась, чтобы уйти.

— Я вас не задержу. Вы только сумочку откройте. То, что там внутри, принесет мне счастье.

— Откройте, откройте, — радостно заверещали зрители, предвкушая новую забаву.

Она раздраженно щелкнула замком, вытащила завернутого в тряпочку слона и замерла, перемещая взгляд с Генки на слона и обратно.

— Ну вот, видите? А говорили, мы не знакомы. Давайте ваш «оберег», он мне пригодится.

— Это не мой, — раздумчиво сказала она и наконец обратила внимание на столик с игрушками. — Хотите сказать, я украла вашу безделку? Да вы с ума сошли!

— Нет, нет, ничего вы, конечно, не крали. Мы все, — он обвел руками толпу, — знаем, что произошло. Правда, товарищи?

— Правда! — весело закричали товарищи.

— Вы подождите немного, — сказал девушке Генка. — Я сейчас быстро соберу вещи и провожу вас, по дороге все объясню... До следующего воскресенья, товарищи. Приходите, я буду на своем обычном месте.

— Только вот этого бычка мне продайте, — взмолилась одна женщина.

— Через неделю, — твердо ответил Генка. — Сейчас я тороплюсь...

Деловая девушка ждать его не стала, пожалала плечами и замаршировала на своих каблуках, помахивая портфельчиком. Генка собрался мгновенно, но аккуратно, не забывая о хрупкости товара, и побежал за ней. Догнал и молча пошел рядом. Она делала вид, что не замечает идущего рядом *артиста*, шла, гордо подняв голову и сосредоточенно смотря в даль.

Генка пытался отдышаться и придумывал подходящие к случаю слова. Он чувствовал, что не может упустить эту девушку, не потому, что она очень хороша собой, и не потому, что казалась богатой, — нет, но она выглядела человеком из мира *других людей*, вход в который был пока закрыт и для него, и для скромной лаборантки Полины. В этом мире ведут умные беседы, читают книги, ходят в настоящие театры, а не восхищаются развлекаловкой возле станции метро, разгуливают по выставкам картин и скульптур и презирают мелкие ремесленные поделки из стекла. Он вдруг понял, как далек от этого мира и как, оказывается, хочет там оказаться.

Они прошли рядом два квартала, Генка так и не решился заговорить. Девушка, по всей видимости, направлялась со своим портфельчиком домой, Генка дошел с ней до парадной двери, она открыла кодовый замок и исчезла, не обернувшись.

Назавтра после работы он ждал ее у двери, не слишком уверенный, что дождет, но зная, что будет приходить, пока не встретит. Он дождался и, отбросив робость, преградил таинственной незнакомке дорогу.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — она удивленно подняла брови. — А вы кто? Я вас не знаю.

— Ну как же, как же? Вчера вы подарили мне на счастье стеклянного слоника, и он честно выполнил свое предназначение: я снова вижу вас, — не то чтобы Генка под-

страивался под шибко культурного господина, скорее всего, он просто кривлялся, однако старался все же произвести впечатление.

— Послушайте, что вы тут фокусничаете? Я вас не знаю и знать не хочу.

— Ключевое слово: фокусничаете. Я действительно фокусник и большой умелец — вы вчера подарили мне мое изделие. Ловкость рук — и никакого мошенничества. Разумеется, вам не интересны мои фокусы и безделушки, но у каждого фокусника есть душа, и разбить ее так же просто, как стеклянного слона или стеклянного же козла.

— Господи, что вы несете?! — вдруг рассмеялась девушка. — Язык без костей.

— Да, речь моя косноязычна, но сердце знает много красивых слов, и когда я вижу перед собой неземное создание с портфельчиком, хочется петь песни и слагать стихи. Меня зовут Геннадий, попросту Геша, я увидел вас в толпе и понял: это моя судьба.

— А если я судьба кого-то другого? Если я замужем? — заулыбалась девушка и стала милой и простой, не выходя, однако, из мира строгих костюмов и портфельчиков.

— Нет! — вскричал Генка. — Вы не можете так поступить со мной! У вас не может быть мужа.

— Почему это не может? — нахмурилась девушка, прогнав улыбку.

— Нет, может, конечно, но не сейчас, когда мне выпало счастье встретить вас, — Генке вдруг надоело ерничать. — Послушайте, вы мне очень понравились, с первого взгляда. Давайте сходим куда-нибудь, даже если вы замужем.

— Во мне нет ничего особенного. Я не замужем, но я никуда не хожу с первым встречным.

— Вон там, сбоку, почти напротив вашего дома, вполне приличное кафе, я посмотрел, пока вас ждал. Туда вы смело можете пойти с первым встречным, вам ничего не угрожает. Я приду завтра, в это же время, после работы. Пойдем в кафе, выпьем кофе, перекусим. Вы ведь с работы?

— Конечно.

— Мы оба голодные. Можем прямо сейчас пойти.

— Нет, не сейчас, — раздумчиво сказала она. — Завтра. Какой вы смешной!

— Я грустный клоун. Но для вас... Готов веселить вас часами. Как вас зовут?

— Лариса.

— Ну, до завтра?

— Да, — неуверенно протянула она.

«Обманет, — подумал Генка. — Нарочно задержится, чтобы отстал. Она не знает, с кем имеет дело. Я Гвоздь».

Они гуляли по осеннему парку, не за руку, не в обнимку — просто шли рядом, перебрасываясь короткими фразами. Генка не смотрел на Ларису, он смотрел вокруг и грустил, с удивлением отмечая, как стремительно, не раскланиваясь, уходят со сцены деревья и кусты, только что радовавшие зрителей своим ярким искусством перевоплощения. Он думал о приближающейся зиме с каким-то двойственным чувством. Конечно, его торговое предприятие вот-вот закончит свое существование, закроется, как закрываются многие другие, даже более крупные объекты, не выдержав конкуренции и безденежья. В Генкином же случае дело обстояло и проще, и безнадежнее, ибо его местом под солнцем распоряжалась природа, и когда не было солнца, умирало место: не будешь же на морозе торговать стекляшками и зазывать замерзших прохожих приторможенными холодом фокусами. А это означало отсутствие денег, материнский крик и гибель проснувшегося было уважения к себе. С другой же стороны, надоело ему лепить без конца стеклянных красавцев, стоять возле метро, опасаясь, что опять подойдет какой-нибудь *хозяйин жизни* и начнет диктовать свои условия. И показывать

фокусы на бесплатную радость не отягощенных интеллектом прохожих ему тоже надоело. Надо было что-то решать.

Тяжелые мысли затмевали радость общения с *девушкой из другого мира*, да и ее другой мир, как оказалось, находился почти рядом с Генкиным. Она приехала из Саратова, училась в Ленинграде, потом осталась насовсем и жила у тетки на правах углового жильца, так что и уединиться с ней не было никакой возможности. Костюм, портфельчик, вид офисного работника — это, конечно, хорошо, только офис-то был крошечным, какая-то контора по продажам всякого рода товаров, где дипломированный экономист Лариса делала все, что прикажут: барабанила на машинке, осваивала компьютер, ставила печати на важных бумагах и разъезжала по городу за свой счет вместо курьера. У нее не было денег бегать по театрам, концертным залам и выставкам; она не знала, какое жалкое существование влечат объекты культуры в пору расцвета в стране бизнеса всех форм и размеров, повсеместной хитрости, воровства и беззакония. Эти знания были Ларисе ни к чему, но она любила читать и, не слишком знакомая с классиками, увлекалась мемуарами, воспоминаниями и различного рода пикантными историями с подробностями из жизни знаменитых людей. Она охотно пересказывала Генке эти истории, в которых самым интересным для него было не содержание, а форма изложения. Девушка *стеснялась*. Она заменяла слова, не договаривала, краснела, а Генка, слушая, любовался ею и думал, как смело теперь стали писать: все как есть. Впрочем, так ли оно было на самом деле? Правда ли, что писатель Сомерсет Моэм, о котором Генка слыхом не слыхал, в девяносто лет впал в маразм и творил непотребности прямо на ковре собственной гостиной? Правда ли, что Сальвадор Дали, о нем Генка что-то слышал, пригласил однажды в гости русского композитора, продержал его одного в закрытой комнате несколько часов, а потом проскакал мимо в голом виде верхом на палочке. А Пушкин? Пушкина знают все, но не всем известно, как он пришел однажды на бал в прозрачных кисейных панталонах и без нижнего белья — эту историю поведал всему миру какой-то Вересаев. Это правда? А впрочем, какая разница? Главное — интересно...

Насчет правды — неважно, а важно то, что в свои двадцать пять лет Лариса оказалась слишком застенчивой, так что ее офисный облик, ее строгий вид совершенно не соответствовали характеру, и Генке с самого начала пришлось преодолевать ее сопротивление и свою собственную робость. Он никак не мог решиться поцеловать Ларису, а когда наконец решился, был разочарован: сжимала губы, вырывалась, покрывалась красными пятнами. Вот так реальность губит фантазии. Не расположен был Генка превращать двадцатипятилетнюю «девчонку» во взрослую женщину, не то было у него настроение. Он так и сказал:

— Все, нагулялись. Я не принц, чтобы будить спящую красавицу. Я человек простой, озабоченный жизнью. Так что прощай и прости.

И вернулся к Полине, которую не навещал несколько недель, ссылаясь на плохое самочувствие. Самочувствие у него и в самом деле было плохим. Он искал способов заработать.

Глава 8

От себя не убежишь. Назвался груздем — полезай в кузов. Родился фокусником — тяни свою ляжку.

Генка продал остатки *творческого вдохновения*, гульнул на вырученные деньги в ресторане и погрузился в осень, которая влилась в него вместе с петербургскими дождями, обмотанными ветром, агрессивной унылостью неба и скучными вечерами в квартире свобододобивой Полины. Вот-вот кончатся деньги, вот-вот снова содрогнутся сте-

ны его жалкой коммуналки от задремавшего было материнского ора, и он опять станет придурком, которого не стоило рожать. Волшебная сила денег! Когда они есть, меняется не только твоя жизнь — меняется мир, большой взрослый мир, который, как грудной ребенок, успокаивается от нарядной соски-пустышки, становясь красивым и любимым. Надо только уметь вовремя заткнуть орущий рот.

Генка умел. Он недолго предавался унынию, а потом словно что-то щелкнуло в голове, и заработал остановившийся механизм жизни, как игрушка, израсходовавшая заводную энергию и проснувшаяся от случайного толчка.

Конечно, от романчика с недоразвитой Ларисой Генка ничего не приобрел, кроме короткой, но яркой вспышки *любви с первого взгляда*, которая дается не каждому и не каждый может ее распознать. Когда ты видишь девушку и с удивлением говоришь себе: это ОНА, надо ловить момент, и он поймал. Поймал, полюбовался и отпустил — момент.... Но воспоминание осталось. Не о самой девушке, а о своем чувстве, радостном, хотя и ошибочном. Ну, ошибся, но ее кажущийся *другой мир* остался, и осталось желание войти в него. А как? Книжки читать, просвещаться, чтобы самому знать и рассказывать невероятные истории из жизни значительных людей, а заодно узнавать, за что они стали значительными. И вообще... Погружаться в чужие истории все же интереснее, чем валяться с Полиной на диване или есть пельмени на ее малоразмерной кухне.

Он стал почитать и однажды, рассматривая полки в лавке старой книги, случайно наткнулся на затрепанную книжонку в мягкой обложке. «Фокусы». Фокусы Генке осточертели, но книжка стоила недорого, и он ее купил. Он лениво перелистывал страницы в вагоне метро и вдруг заинтересовался, увлекся, читал целый день на работе, а потом дома, стараясь не слышать, как мать в своей смежной комнате грохочет стульями, что-то двигает, переставляет, накапливая энергию звуков в гортани. Сколько интересных трюков можно показать, почти не напрягаясь, если у тебя ловкие руки и подвижный мозг! Он кое-что попробовал и почувствовал вдохновение, которое требовало выхода. А дальше все пошло само, Генка словно и не думал, автоматически делая то, что подсказывалось закипающим в груди вдохновением. Он написал объявление:

*Корпоративы, свадьбы, детские праздники!
Фокусник-волшебник!
Ловкость рук и никакого обмана!
Телефон для справок...*

Буквы сделал яркими, разноцветными, на краю листка поместил картинку, которую перерисовал из той же книжки: длинный человек в черном плаще и цилиндре и струящиеся из его рукавов пестрые ленты. Он приклеил листок к доске объявлений и начал готовиться к новой работе. Раздобыл в комиссионке плащ, сам склеил цилиндр, купил кое-какой реквизит и обтягивающий тренировочный костюм, который украсил блестками и аккуратно расшил бусинками. Он надумал так: сначала плащ и цилиндр, потом ловким и изящным движением плащ сбрасывается, цилиндр откидывается в сторону, и перед глазами зрителей предстает стройный молодой человек с гибкой фигурой. Хорошо бы одновременно показывать несложные акробатические номера, но для этого надо быть не тощим, а тонким и мускулистым. На последние деньги он записался в спортзал.

Ждать заказчиков пришлось долго, оно и понятно: богатые люди не станут приглашать в дом случайного человека, а у бедных вообще нет денег. Генка ждал, терпел, живя на свою скудную зарплату под аккомпанемент материнской песни. Первый раз его пригласили в декабре, на новогодний детский праздник в семье участкового терапевта. Он договорился и сразу подал в лаборатории заявление об уходе, а потом раз и навсегда

да распрощался с Полиной. Чтобы избежать сцен, он объявил девушке об уходе с работы и из ее жизни прямо в лаборатории, во время обеденного перерыва. Хотя какие сцены? Теперь, когда прошла жалость, расставание казалось Генке пустой формальностью. В самом деле, разве можно принимать их редкие теперь встречи, безрадостный секс за отношения влюбленных или хотя бы тяготеющих друг к другу людей? Между истинной страстью, любовью, привязанностью стояло теперь одиноличное Генкино *вдохновение*, толкающее его вперед и вперед по жизни, в которой не окажется места для Полины, лаборатории физики стекла и матери, хотя пусть она живет, но подальше от своего непутевого сына...

— В общем, все, Поля, расходятся наши дорожки.

— Ты, наверно, шутишь? Зачем так шутить, Геша? Нечестно.

— Какие шутки?! Ты что, не видишь, что чувства пошли на убыль? Все кончается, Полюшко, такова жизнь. Спасибо тебе за любовь и прощай, — он повернулся, чтобы уйти, но она удержала своего возвышенного героя, схватив за полу рабочего халата.

— Ты не можешь уйти, Геша. Мы же, как родные, нашли друг друга. Неужто, как моя мать, бросишь меня теперь?

— Я не мать, Поля. Я мужчина. У мужчины должна быть биография, я сейчас над ней работаю.

— Другую нашел?

— Не всегда мужчина расстается с женщиной из-за другой, пора тебе это знать, Поля. И закончим наш неприятный разговор.

Полина плакала. Он поспешил уйти, чтобы не видеть женских слез и не чувствовать себя виноватым. В чем он виноват? Он прекрасно провел сцену расставания, он был умен, красноречив и тверд, — вполне можно уважать себя и выбросить из головы мелкие ничтожные чувства. Жалость, сочувствие — на этих кривых кобылах далеко не уедешь...

С врачом-терапевтом Генка перед тем, как окончательно договориться, долго торговался. Тот, бедняга, все старался снизить цену: любил своего сыночка, хотел доставить ему радость, а радость нынче стоила дорого. Генка подумал и пошел навстречу хорошему человеку. Он рассудил так: первый опыт, шут его знает, как получится, но если получится удачно, что скорее всего, хороший человек обеспечит артисту устную рекламу, так что жадничать пока не стоит. Они сошлись на удобоваримой цене, и Генка начал готовиться к своему первому *выходу на сцену*. Нет, неправда, что все давалось ему легко, он просто умел постигать и преодолевать трудности. К тому же он любил дела, которыми занимался, и отдавал им всего себя. Все, что он делал, называлось *творчеством*, неважно, что ты творишь: детали на токарном станке, свое тело на спортивном снаряде или спектакли для взрослых и детей. Генка оказался прав: врач-терапевт, пришедший в восторг от трюков фокусника, великодушно поделился своей находкой с друзьями и товарищами по работе, те в свою очередь пронесли Генкину славу в массы, — в результате накануне Нового года и после, во время каникул *артиста* буквально разрывали на части интеллигентные люди, не утратившие от бедности чувство прекрасного.

Генке нравилось работать с детьми, это тебе не взрослые дураки, которые с раскрытыми ртами любят фигу из кармана. Дети искренни. Если фокусник добросовестен, если он переполнен энергией и испытывает удовольствие от своей работы; если он умеет делать множество дел одновременно: ходить на руках, выплевывая шарики изо рта, садиться на шпагат и стоять на голове; если он не забывает вовлекать зрителей в свои проделки, не раскрывая тайн и окончательно превращаясь в волшебника; если он может разговаривать без переводчика на детском языке, — тогда такому мастеру обеспечены успех и слава, пусть даже в узком кругу. И деньги — как заслуженный результат труда и вдохновения...

Он трудился до самой весны и увеселял теперь не только детей, но и взрослых, на корпоративах и семейных торжествах, все усложняя и усложняя программу и заставляя себя отключаться от ненужных мыслей о глупости человечества, восхищающегося ярким обманом ловкого манипулятора. Такие мысли были ему не нужны, они гасили вдохновение, поэтому он представлял на месте *этих дураков* самого себя, в детстве, лишенном развлечений и теплой материнской заботы. Он показывал *себе* свое искусство и радовался, что теперь у него есть другое детство, без злобы, криков и упреков, которое будет длиться столько, сколько он захочет. Но он уже чувствовал усталость.

Пожалуй, ему нужна была легкая любовная интрижка, он уже был вполне готов поделиться частью своего вдохновения. Не в ущерб основному делу, а для его дополнительной окраски. Вопрос был в выборе женщины, а уж покорить ее — нетрудное дело для артиста, особенно истинного, строящего каждое выступление на крылатых и одновременно мощных эмоциях, которыми непременно заражаются зрители, а тем более склонный к проявлению острых чувств женский пол. К тому же Генка с удивлением замечал, что похорошел и перестал походить на корявый гвоздь с плоской шляпкой. Он отрастил длинные волосы, которые оказались густыми, вьющимися и образовали на его приплюснутой голове таинственное «воронье гнездо», придающее облику мужчины мужественность в сочетании с поэтичностью и непредсказуемостью. Ну и, конечно, тело. Не зря он ходил в спортзал, истязая себя до изнурения. В процессе выступления перед взрослой аудиторией он теперь не только снимал плащ, оставаясь в костюме стройного акробата, — он устраивал стриптиз, сдергивал черную обтягивающую футболку и демонстрировал зрителям крепкий мускулистый торс. Это было нисколько не стыдно и, пожалуй, красиво. Во всяком случае женщины явно переключали внимание с манипулирующей фокусника на его внешность, а уж потом возвращались взглядами к его работе, соединив мастерство артиста с привлекательностью тела и обеспечивая таким образом еще больший успех волшебнику.

Однажды, работая и не отпуская от взгляда аудиторию, он заметил среди зрителей женщину лет тридцати, глаза которой светились тем несдерживаемым восторгом, который ни с чем не спутаешь: ей нравился *мужчина*. Генку заинтересовала эта дамочка, так открыто демонстрирующая тайные чувства. В процессе выступления он вызвал ее на сцену, показал несколько зарисовок с ее участием, заодно и присмотрелся: поленькая, грудастая, подвижная, — подходит. Провожая красавицу со сцены, он шепнул:

— Буду ждать на выходе, через час.

Она улыбнулась и ничего не ответила, но он знал, что выйдет и пойдет с ним. Вопрос, куда пойти, не к матери же в коммуналку. «Ничего, как-нибудь решим», — подумал он.

Решили просто: она пригласила артиста к себе. Пили кофе, Генка был серьезен — как бы сбросил с себя сценическую маску, — немногословен, словам предпочитал взгляды и, неплохо натасканный опытной Полиной, действовал неспешно, без суеты, но властно, не оставляя женщине путей к отступлению. Она, впрочем, никуда не отступала и оказалась слишком податливой. Мужчина — борец, лепить удовольствие из хлебного мякиша ему не пристало, он должен высекать свою добычу из гранита. Конечно, момент был, Генка давно проголодался, но, как говорится, костер горел недолго. Две-три встречи — и будь здорова, дорогая. А я пошел, у меня дела, и кругом женщины, только рукой махни. Прощай, дорогая.

Глава 9

Генка был собой доволен. За зиму он так много заработал, что мать закрыла рот для крика и даже иногда раскрывала его для улыбки. Улыбка, правда, получалась слегка резиновой, однобокой и, вопреки общепринятому мнению, не украшала лицо, а пре-

вращала в маску. Впрочем, Генке было все равно. У него теперь имелся счет в банке, с помощью которого он мог продержаться лето без работы, однако впереди — темный лес. Что дальше-то делать? Нужен развлекательный бизнес, помещение, помощники — какие-нибудь цирковые артисты, чтобы не изнурять себя одного, — реквизит, реклама. Нужно *сразу много денег*. Их пока нет, и где взять? Украсть? Мошенничать? — это он смог бы: ловкость рук... Не хочется пока, опасно. Нужен честный бизнес...

Стоял теплый май. Конец мая и конец июня Генке предстояло трудиться не покладая рук: «последние звонки» в школах, выпускные вечеринки. Он дал себе недельный отпуск, чтобы быть готовым к честному и утомительному труду. Он устал — и от работы, и от мыслей о будущем. Ему нужны были покой и тишина.

Генка не любил город. И сколько бы ни болтали о Петербурге, этой *Северной Венеции*, с ее каналами, разводными мостами и *богатым культурным наследием*, его угнетали, его давили и агрессивный Медный всадник, и тяжелый, сжимающий мир в каменных объятиях Казанский собор, и пузатый монферрановский Исаакий, единственным украшением которого он считал звучное имя архитектора, где-то однажды случайно услышанное. Генка любил природу, и опять же не парки, не монументальные фонтаны и царские дворцы, с их роскошью, намекающей на безделье хозяев и недоступность богатства для прочих граждан. Нет, Генка любил тихие скромные уголки Ленинградской области, хотя последнее время, чувствуя свое приближение к миру богатых людей, предпочитал все-таки элитные пригороды. Там тоже было тихо и скромно, а особняки за высокими заборами не раздражали, но обещали: он, Генка-Гвоздь, скоро сможет оказаться там и жить хоть не по-царски, но комфортно и красиво, честно заработав свое богатство.

У него было любимое место в поселке Курортного района, на берегу озера, отороченного негустым сосновым лесом. Там пахло смолой, озерной тиной и рыбой, там ноги утопали в пересыпанном камушками песке, и плавали степенные дикие утки, неохотно деля с чайками свою скромную случайную трапезу. На прорезающих сосновый массив улицах в будние дни бывало пустынно, только откормленные кошки редких пород иногда пробегали мимо по своим делам и пропадали в подворотнях особняков. Никто не выкашивал траву на обочинах улиц, она росла свободно, как в поле, источая медовые ароматы под солнцем и влажные запахи дождя в пасмурные дни.

Генка снял в гостинице номер на неделю, пообедал в кафе и тут же отправился на берег озера. Никаких дачников, никаких купаний — день был теплым, но к вечеру остыл, да и вода еще не нагрелась, лениво поглаживала берег холодной дланью и задумчиво отступала.

Он сидел на берегу, окуная руки в песок, и растирал его в горсти, словно хотел обнаружить между песчинок золотую крупинку или некий исторический артефакт. Неприятные мысли о будущем оставили голову в покое, и казалось, что эта тишина, это безмыслие, этот покой продлятся долго, однако не всегда, потому что время возьмет свое, и заботы вернутся, но уже к другому, отдохнувшему, готовому к жизни человеку.

Генка услышал шум приближающегося автомобиля, оглянулся: блестящий черный «роллс-ройс» остановился у кромки пляжа и, взвизгнув, уткнулся мордой в траву. Распахнулась дверца, невысокий плотный мужчина вырвался наружу, побежал к воде, на ходу сбрасывая одежду. «Купаться, что ли, собрался? — подумал Генка. — Во дает мужик!» Мужчина в плавках побежал вперед, окунулся, заверещал и поплыл, отфыркиваясь и суматошно выбрасывая руки. Потом вдруг исчез под водой, снова появился и, что-то выкрикивая безумным голосом, опять исчез. «Тонет дурак», — подумал Генка, вскочил и прямо в одежде бросился в воду. «Помогите!» — задыхаясь, орал мужчина. Ясное дело, Генка помог, а кто бы на его месте остался сидеть, если рядом человек отдает концы! Вытащил он этого чудака, доволоч до сухого места, сделал искусственное

дыхание. Шизонутый пловец очухался быстро, похлопал глазами и сел на песок. Генка набросил на него полотенце и принялся отжимать свои мокрые брюки и футболку. Холодно, черт возьми.

— Молодой человек, какое счастье, что вы оказались рядом! Я вам жизнью обязан.

— Зачем вы в воду-то полезли? Моржуете?

— Нервы хотел успокоить водными процедурами. Я хорошо плаваю, а тут от холода ногу свело. Все-таки к шестому десятку жизни надо бы быть осторожнее, — он повеселел, но все еще задыхался и слегка клацал зубами. — Ей-богу, утонул бы, если бы вы не помогли. Оказывается, я везунчик, буду иметь в виду *свою непотопляемость*. Это дает надежду на светлое будущее.

— У вас что-то случилось? Надеюсь, вы не собирались топить?

— Нет, — попробовал засмеяться человек и слегка икнул. — Нет, нет, хотел остудить себя холодной ванной, потому что действительно неприятностей много, надо было успокоиться.

— Успокоились?

— Да как сказать...

Тут он глянул на свое левое запястье, дернул головой и снова засмеялся:

— Везунчик-то я везунчик, но большие деньги опять умудрился потерять. Мне, видно, на роду написано: деньги терять.

— А что конкретно потеряли?

— В данном случае можно сказать — ерунду. Однако жалко. Дорогущие часы, Rolex, подарил водяному. Хотя по сравнению с жизнью — мелочь. Но жаден человек, жаден. Его убивают, а он думает, что пятна крови испортят рубашку. Эх, растяпа я. По жизни — растяпа, — он вдруг заплакал.

Генка не мог выносить слез. С женщинами было проще: плачешь? — ну, плачь, а я пошел. Но когда плачет крепкий немолодой мужчина, видеть такое невыносимо, а от-вернуться как-то не по-товарищески.

— Вы часы в воде потеряли? — уточнил он, не в силах понять, как может мужчина плакать по такому ничтожному поводу, едва не утонув. «Что-то у него случилось серьезное, часы — последняя капля», — подумал он и сказал, не успев толком подумать:

— Пойду нырну разок, может, найду?

— Ну, что вы, что вы, — прошептал мужчина, пытаясь остановить слезы. — Вы и так замерзли.

— Я быстро. Только гляну.

Зачем Генка врал? Зачем устраивал спектакль? Он ведь знал, что ничего не найдет. Он успел усечь тот момент, когда, расстегнувшись, часы упали на дно озера, ловко под-нял их одной рукой и сунул в карман мокрых брюк. Он не собирался их присваивать, хотел отдать незадачливому «моржу». Но, услышав марку и прикинув цену, передумал. «Плата за спасение человека, — успокоил он себя. — За гражданский подвиг и побольше можно заплатить».

Для виду Генка нырнул пару раз, окончательно замерз и решил, что вину свою пол-ностью искупил.

— Нет, ничего не нашел, — его трясло не то от холода, не то непонятно от чего.

— Ну, ладно, ладно, пойдемте в машину, холодно. Поехали ко мне, я тут рядом живу. Переоденетесь, выпьем, закусим. Водочки надо обязательно, чтоб не простудиться.

И правда. Только заболеть не хватало. Генка не болеть приехал, а отдыхать и про-чищать мозги. И вообще — этот мужик может пригодиться.

Конечно, высокий забор. Конечно, огромный домина, но какой-то строгий, без вся-ких придамбасов, короче, не во имя пижонства, а чтобы жить комфортно. Они вошли

не через массивную парадную дверь, а почему-то сбоку, и сразу оказались в светлом зале, сто квадратных метров, не меньше, с широкими и высокими окнами и лепными потолками. Худошавая женщина в брючках и свободной блузе встретила их на пороге, тревожно взглянула на мокрого Генку:

— Что случилось?

— Ничего, — попробовал засмеяться спасенный пловец. — Неувязочка вышла. Нырнул я, ногу свело. Молодой человек пришел на помощь. Кстати, как зовут вас, мой дорогой спаситель?

— Геннадий.

— Вот, Аллочка, это Геннадий. Это моя жена Аллочка, а я — Роман, — он говорил быстро, не давая Аллочке рта раскрыть, забалтывал.

— А по батюшке? — спросил Генка, имея в виду солидный возраст своего подопечного.

— Да какой там батюшка! Считайте, вы сами мой крестный отец.

— Подожди-ка, Рома, — остановила его жена. — Объясни, в чем дело.

— Да я уже все сказал.

— Зачем тебе понадобилось нырять? Хотя... ничего нового...

— Вот именно, тем более что Геннадию надо срочно переодеться. Принеси что-нибудь, дорогая. И выпить нам надо, закусить. Сделаешь?

Женщина молча направилась в соседнюю дверь. Пока ее не было, Генка рассматривал помещение, перескакивая цепким взглядом с одного предмета на другой, соединяя их вместе и создавая для себя общую картину дома, а заодно и портреты его обитателей. Красивый дом, стильный, а хозяева — симпатичные люди с хорошим вкусом и большими деньгами. Генка никогда не бывал в домах, по-настоящему богатых, но почему-то считал, что все в них должно быть напоказ, все должно кричать о богатстве, безвкусно и дорого. Здесь тоже было дорого и одновременно скромно, удобно и гармонично. Странное сочетание старинного с современным, когда прошлое плавно перетекает в настоящее, демонстрируя почти человеческую преемственность поколений вещей. Огромный светлый зал служил и кухней со старинным многоярусным буфетом и современной барной стойкой; и столовой, где громоздкий стол на тяжелых ножках уживался с легкой «горкой» для посуды; и гостиной, в углу которой красовался антикварный столик на витой ножке в окружении трех «танцующих» кресел советского производства; и зимним садом с модными нынче напольными и вьющимися растениями, отражающими бликующий свет от многоцветной витражной стенки. На верхний этаж дома вела плавно круглящаяся лестница, над которой висела огромная картина — лестница, изображенная на ней, создавала иллюзию продолжения пути в бесконечность.

Такое смешение стилей показалось Генке уместным, если иметь в виду, что юный капитализм в России никак не мог выбиться из-под крыла советской действительности и сохранял пока с ней кровное родство, потому что полностью отказываться от родителей в мире людей не принято. Как-то незаметно, суетливо мелькнул перед его мысленным взором образ матери. Мелькнул и исчез, потому что хозяйка пригласила его в соседнюю комнату — переодеться.

Сидя в чужом спортивном костюме в чужом кресле чужого дома, Генка разглядывал хлопчущую на кухне жену богатого человека. «Сколько ей лет? — думал он. — Немолодая, явно немолодая. Но как приятно посмотреть!» Ни косметики, ни модной прически, ни экстравагантной домашней одежды — естественно, просто. Спокойные движения, милая сосредоточенность лица, деловитость в сочетании с неторопливостью.

— Прошу к столу.

Выпили водки, закусили обычным оливье, сыром и колбаской. Роман многократно пил за свое второе рождение и за своего спасителя, а Генка без притворства и актерства один раз поднял бокал за хозяйку дома.

— Вы очень молодая и красивая, — сказал он.

— Ну, что вы?! — улыбнулась она. — Мне скоро шестьдесят.

Генка и раньше замечал: не все женщины скрывают свой возраст. Некоторые, хорошо сохранившиеся, даже любят им похвастать, чтобы лишний раз услышать: никогда бы не подумал! Но она не хвастала, просто констатировала факт, что не помешало Генке ответить, как положено:

— Никогда бы не подумал!

Когда он собирался домой, Роман сказал:

— А знаете, что? Приходите к нам завтра, у меня день рождения. Обычно у нас много бывает гостей, но сейчас, в связи с предложенными обстоятельствами, никого не хотим видеть. А вы приходите, я сегодня благодаря вам родился.

— У вас какие-то неприятности?

— Приходите завтра. Расскажу.

Генка пошел, не столько из любопытства, сколько из желания снова увидеть Аллочку. «Она сказала, что есть сын, живет за границей. Хорошо, когда такая мать: красивая, спокойная и голос тихий», — думал Генка...

Хозяйка была неотразима. Длинное шелковое платье, на груди, в глубоком его выреze *возлежал* замысловатое кольцо с зелеными камнями (изумруды?), в ушах блестяли серьги с такими же камнями (изумруды?!), играющими светом заходящего солнца. Аллочка выглядела роскошной красавицей, особенно ее зеленые глаза, словно специально подобранные под цвет камней. С другими камнями глаза обязательно становятся другими — это называется *волшебством красоты*.

Ужин был накрыт на антикварном чуде с витой ножкой в углу гостиной, напитки разместились на современном столике на колесах. Гурманом Генка не был, пить много не любил, но ел и пил, чувствуя незнакомую прежде радость, которая рождалась не обилием спиртного и изысканностью блюд, не богатством дома, не добродушием хозяина и даже не красотой хозяйки. Он представил себя их отсутствующим сыном, вот они сидят все вместе, в интимном домашнем кругу и празднуют папин день рождения. И хорошо, что нет гостей. Кстати, почему все-таки нет гостей?

— У вас так хорошо здесь, — сказал Генка. — А вы говорили о неприятностях. Это была шутка?

— Нет, не шутка. Выпей еще, поешь, а я расскажу, — откликнулся хозяин, без усилий перейдя на «ты».

— У Ромы такая особенность, у него не от выпивки язык развязывается, а на нервной почве, — сказала Аллочка, и Генка не услышал в ее словах осуждения. — Преду-преждаю, он может увлечься, но всегда есть возможность его остановить.

— Правильно, если у тебя есть фонтан, заткни его, — процитировал Роман и засмеялся. — Говорят, грех грузить других своими проблемами. А по мне, лучше говорить, чем ходить с постной мордой и вызывать у людей тоску. А еще лучше, чтобы проблем не было. Давайте за это выпьем.

Потом хозяйка убрала со стола, пошла готовить десерт и варить кофе, а два захмелевших мужчины остались в креслах: один — говорить, другой — слушать.

— Я вчера слезу пустил, когда часы потерял, — начал хозяин. — Так это не от жадности.

— Я понял, — встрял Генка, чтобы что-то сказать и скрыть смущение, которого он от себя не ожидал.

— Дорогие часы, несколько миллионов стоят, но на фоне общей картины моей жизни — сущий пустяк. А прослезился я потому, что в очередной раз столкнулся с неvezучестью. Так сказать, еще один частный случай.

— Судя по вам, вашей жене и дому, невезучеством здесь не пахнет, — улыбнулся Генка.

— Эх, мой мальчик, не все золото, что блестит, и не всякая беда видна невооруженным глазом. Расскажу немного о себе, для знакомства. Вижу, хороший ты парень. Приятная встреча по неприятному поводу. Это людям намек: не все на свете плохо, жизнь биполярна, на каждый минус всегда найдется плюс. Видишь? Я оптимист.

— Я тоже, — ввернул Генка.

— Ну, так вот. По профессии я строитель, занимал при советской власти крупный пост в одном проектно-институте. Но характер всегда имел беспокойный. Аллочка правильно сказала: могу увлечься. Но остановить меня не так просто, вечно в голове тараканы бегают, и в заднице свербит. А тут, в начале девяностых, новая жизнь в стране началась. Институт наш ликвидировали, я и рад был: все в бизнес кинулись, а я, небедный человек, всю жизнь только и ждал свободной творческой работы. Бизнес — это, конечно, экономика. Но *творческая экономика*, требует ума и азарта. Не буду подробно описывать ту way в бизнесе, это тема отдельного разговора. Начал с бензоколонок, хорошо зарабатывал, купил пару квартир, дом этот соорудил, взял в аренду территорию, построил офис. Но криминал... И похищали меня, и били, и к батарее привязывали, и собственную могилу рыть заставляли — это все так типично для нашей *свободы*, что даже неинтересно. Продал я бензоколонки, купил два пассажирских пароходика, туристические поездки из Крыма в Турцию. А управляли делом аферисты на местах, воровали, а потом меня подставили. *Мошенничество в особо крупных размерах*. До десяти лет... Посадили, два месяца сидел на Захарьевской. Аллочка рассказывала потом про передачи в тюрьму. Говорит, придешь на рынок, скажешь торговцу: мне для тюрьмы, — лучший товар выберут. Бандитам народ сочувствует! А в очереди, чтобы посылки отдавать, люди стояли разные, и бандиты среди них. Так они всем помогали, разъясняли, что можно, что нельзя, в каком виде передавать, — в общем, дружба и всеобщее братание...

Выкрутился я, однако, оправдали, вышел на волю. И тут повстречались мне два славных братца: симпатяги, культурные и со связями. У них был сырный бизнес. Ну, как бизнес? Купи — продай. Покупали за границей сыры, здесь продавали. Хорошая прибыль, — он как-то натянуто улыбнулся и наполнил рюмки. — Выпьем, Гена, за то, чтобы человек, а тем паче мужчина, никогда не утрачивал разум.

Генке пить не хотелось, но жалко было рассказчика.

— Да-а... Проникся я к этим «сырникам», взяли они меня в свой бизнес. И решили мы выкупить территорию под офис — пополам. То есть я закладываю этот дом сроком на двадцать лет, покупаю территорию, остальное отдаю им, а они уж сами будут выплачивать по закладной. Все операции — на полном доверии. Эх-х! Помнишь, как у Пушкина? «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Это про меня. Сначала все было нормально. Офис свой я сдавал под аренду, они платили по закладной. А потом — кризис. И мои братья-разбойники втайне от меня объявили себя банкротами, заложили по поддельным документам офис и еще кое-что из моей недвижимости и смылись в Израиль. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...

— Так что же теперь? — ужаснулся Генка. — Выходит, вы все потеряли?

— Именно. Ничего у меня нет. А банк требует платы по кредиту за заложенный дом. Того и гляди, окажемся на улице.

— Да-а... И никакого выхода?

— Насчет выхода — не знаю. Но есть надежда. Тут в поселке появился человек, нестарый, но на инвалидности. Рак желудка. От желудка кусочек только остался. Имя у этого человека боевое — Спартак. Снял здесь домик и живет постоянно, один. Мужественный и доброжелательный человек, со всеми жителями дружит, всегда готов

помочь. К нам часто приходит. У нас теперь положение тяжелое, на помощников денег нет. Спартак то одно сделает, то другое, не чинится, хотя бывший военный, окончил Военно-медицинскую академию, кандидат наук, оперировал в Эфиопии, был в Афганистане. Отец его, между прочим, служил генералом в ГРУ. Ну, выболтал я, конечно, Спартак свою историю. Он обещал помочь через своих приятелей в органах и используя отцовские связи. Мы в суд подали, чтобы доказать, что офис и другая недвижимость заложены по поддельным документам, и отсудить их обратно. Продадим и кредит по залогу дома выплатим, да еще и останется. Может, я, дурак, еще какое-нибудь дело затею. Или дом можно будет продать, он же бешеных денег стоит — дитя моего бензинового бизнеса. Дом продадим, квартиру купим и опять — гуляй, Вася, лезь опять в пасть капитализма. Меня, видно, уму не научишь.

— А где же ваш Спартак сегодня? Мог бы прийти, поздравить.

— Уехал каких-то родственников навещать. Через пару дней приедет, зайдет. Ты тоже приходи, познакомись, о себе расскажешь. А то я заболтал тебя, а кто ты, не знаю. Вижу, что хороший парень.

— Все-таки вы слишком доверчивы, — улыбнулся Генка. — Впустили к себе в дом чужого человека. А может, я вор?

— Нет, не вор ты, но интересный человек, серьезный, взрослый не по годам. Ты кто? По профессии.

— А никто. Простой рабочий из бедной семьи.

— Так ведь и я, в сущности, простой рабочий, строитель, начинал с бетонщика на заводе... Ну, приходи послезавтра к вечеру. Тебе бы учиться... Может, Спартак тебя в вуз устроит. У него все схвачено.

Глава 10

«Что рассказать о себе? — думал Генка. — О фокусах — ни слова. Скажу, что я художник, скульптор: ваяю из стекла. Насочиняю всякой ерунды... Непрактичный все-таки мужик этот Роман. Зачем в бизнес полез, спрашивается?»

Он не слишком хотел снова идти в гости. Наивный и доверчивый Роман начинал раздражать, его красивая жена, с ее дружелюбием и спокойствием в сложившихся обстоятельствах, стала казаться неискренней. Или просто чужая беда действует на психику, подавляет оптимизм, а Генка привык жить с верой в себя? Может быть, он опять жалел людей? Или сострадал? Боль от сострадания хуже физической, от нее душа может стать инвалидом и появится дальновзоркость — очевидный признак старости и немоги. Ничто подобное было ему не нужно. Но какому человеку не купиться на тепло, красоту и дружеские, ни на чем не основанные чувства?

С утра у него болела голова, в какой-то момент Генка даже решил, что все-таки никуда не пойдет. Потом понял, что пойдет, не хочет, но пойдет — тянет. Он приделся и отправился *во дворец*. День обещал быть теплым и неярким. С утра из светлого неба тихо падал дождь, но к вечеру небо помутнело, на белесом фоне вспыхнул закат, словно кто-то поджег тучи, — они пламенели и исходили черным агрессивным дымом. Волны озера, слабо рыча, вставали в стойку, готовые к прыжку и разрушениям. Головная боль мешала Генке думать, тяжелые, лягушачьи прыжки мыслей отдавались в каждом шаге.

— Ну, где же ваш Геркулес? — запросто, как старый знакомый, спросил он хозяина, пытаясь улыбкой скрыть головную боль.

— Геркулес! — засмеялся Роман. — Нет, Геркулесом его назвать трудно, хрупкий, болезненный. Но Спартак — подходит. Благородный человек. Он, кстати, уже пришел, жарит шашлык в саду.

«Благородно! — усмехнулся про себя Генка. — Нацепил фартук и жарит шашлыки в чужом доме. Молодец, Спартак».

За столом Генка рассказывал байки о себе. Спартак, невысокий subtilный мужчина лет сорока, с хорошеньким, как у женщины, личиком, слушал внимательно, подперев щеку ладонью и слегка улыбаясь глазами. Потом, конечно, повернули в сторону главной проблемы, не объедешь, как ни крути. Спартак демонстрировал деловитость, шелковую приятность голоса и высокий интеллект.

— Мы с вами честные люди, — вещал он. — Достоевский сказал, что в мире много честных людей благодаря тому, что они дураки. Мы не из их числа. Мы умные, но честные, — и в этом наша сила. Через неделю суд, я уверен в победе.

— Сколько уж было этих судов! — вздохнул Роман.

— Сейчас у нас не девятые годы, Рома, начались нулевые. Мой друг не последний человек в органах, обещал классного адвоката. Я специально сегодня с утра с ним виделся. Он меня успокоил. Не переживай, Рома. Прочитую опять же Достоевского: «В смутное время колебания или перехода всегда и везде проявляются разные людишки... Я говорю лишь про сволочь...»

— Это где же Достоевский про сволочь рассуждает? — не боясь выдать свое невежество, спросил Генка.

— В «Бесах», юноша. Очень современный роман. Читали?

— Не довелось. Прочту обязательно, — усмехнулся Генка.

— Давайте выпьем за удачу, — поднял рюмку хорошенький Спартак. — Чтобы кончился наконец этот тяжкий сон. *Жизнь на сон похожа, и наша жизнь лишь сном окружена.* Но наша реальная жизнь имеет все шансы меняться в лучшую сторону.

Генка смотрел на него, слушал и *видел*. Перед его глазами словно мелькали кадры из фильма — не весь фильм, а, как в рекламе, отдельные яркие эпизоды. Голова болела так сильно, что хотелось немедленно встать и уйти и *не видеть* больше этого безобразия. Он не ушел до конца вечера и сдержался от желания прибить, уничтожить красавчика с женским личиком. Они вышли вместе, и Спартак долго еще мучил его у калитки своей эрудицией и светлым взглядом в будущее. Потом попросил продиктовать «контактный телефон». Генка продиктовал и получил ответный номер — для поддержания приятных отношений.

Он пришел в гостиницу и лег, сунув голову под подушку. Он понимал теперь, что с ним происходит, и знал, что нужно делать. Все-таки когда ты *страдаешь* симпатичным пожилым людям, пусть даже наивным и глуповатым, — не стоит себя тормозить.

Утром голова болела меньше. День обещал быть погожим, ажурные тени на земле играли в прятки с солнцем, а небо над головой, яркое, глубокое и тревожное, напоминало перевернутое море с белыми переменчивыми волнами кучевых облаков. Генка чувствовал готовность к действиям. А что откладывать? Откладывать времени нет. Он позвонил Спартаку и приятным голосом предложил встретиться для беседы на *приятную* (удачно вспомнил слово!) тему. Красавчик тут же согласился и даже обрадовался. Его радушие не знало предела. Он встретил Генку у калитки, повел к дому — довольно жалкой хибарке, окруженной ухоженным, хотя и не приобретшим ещелетней яркости садиком.

— Давайте посидим в саду, вот здесь, под березкой. Видите, какая она ажурная. Ах, как люблю я эту первую ажурную зелень! Что будем пить: чай или кофе?

— Нет, спасибо, я плотно позавтракал, — соврал Генка, потому что с утра не проглотил ни кусочка, его все еще мутило после вчерашних мучений.

— Рад, что вы захотели повидаться. Вы очень молодой, но видно, что серьезный человек. Сейчас молодежь несколько иная, хотя не стоит, пожалуй, ругать молодое поколение, за ним наше будущее. А что вы думаете о своем будущем?

— Я думаю о настоящем. О нем и будет наш разговор.

— Вот как? Слушаю внимательно.

Генка глубоко вздохнул, откинулся на спинку садового кресла, закинул ногу за ногу и прищурился.

— Ну, начнем с того, что никакой ты не Спартак. Ты Василий, Вася-Василек. Это во-первых...

— Минуточку. А почему вы со мной на «ты»? Я вам в отцы гожусь.

— Не годишься. И никакой ты не военный врач, и в горячих точках не был, и папаша у тебя не генерал. Ты в приюте вырос. А вот дружок в органах у тебя есть, твой поделщик. Хотите вместе богатый дом оттяпать?

— Что с тобой, Гена? Ты бредишь, юноша?

— А хочешь, я нарисую тебе картинки? Бред сумасшедшего, но тебе понравятся. Помнишь старушку, которая бедствовала одна в огромной квартире, а ты к ней в сыновья устроился? Квартирка-то все еще у тебя, или продал? Знаю, знаю: продал, не парься.

— Ничего не понимаю...

— А старикашка, у которого ты под видом соцработника ордена спер? Ему эти ордена были дороже жизни. Он и умер от горя, когда обнаружил пропажу.

— Гена, ты болен?

— Это все мелочи, пустяки. наброски. А вот картонажная фабрика, в которой инвалиды коробки клеили, — другое дело. Помнишь? Ловко вы с дружком твоим ее прибрали к рукам. Инвалидов — к чертям собачьим, зачем вам инвалидные коробки? А поддельные документы ляпать — дело стоящее. Правда ведь?

Спартак молчал. Не мигая, смотрел Генке в лицо, на лбу выступили капли пота, одна сорвалась, побежала по носу и повисла на кончике. Он машинально слизнул ее языком.

— А подпольный публичный дом в Краснодаре? — продолжал Генка, увлекаясь и наращивая звук. — Помнишь, как девок голыми на холод выгоняли, а потом вдвоем с дружком драли их «мамку», пока не согласилась работать по вашим правилам. Рассказывать дальше?

— Ты сочиняешь всякие гадости...

— Могу продолжить.

— Ничего ты не можешь знать, молокосос.

— Ладно. Давай попроще. Твоя туфля натирает тебе мизинец на левой ноге, там водяная мозоль, ты ее сегодня залепил пластырем. Правильно? Далее. В футболке у тебя, вон в том кармашке сучает визитка. А на ней черным по голубому написано: Сорока. Это не птичка, а фамилия твоего покровителя из органов.

— Ты что, его знаешь? Это он, падла, меня продал?! — заикаясь, прошептал Спартак.

— Бог миловал. Таких знакомых мне только не хватало. Да он ведь не болтлив, хоть и сорока. А я без всяких сорок могу узнать все, что захочу.

— Ты экстрасенс, что ли?

— Да как сказать? Прошлое и настоящее вижу, как тебя сейчас. А вот будущее предсказать не могу. Хотя твое будущее у меня как на ладони, ты для него хорошо потрудился вместе с дружком.

Спартак вдруг как-то обмяк, постарел, и сквозь женские черты проступила грубая маска уголовника.

— Чего ты хочешь? Денег? — так и говори. Поладим.

— Деньги в хозяйстве всегда пригодятся. Только твое вонючее бабло мне душу не согреет. Подавись.

— Зачем ты пришел, Гена?

— Дело у меня к тебе простое, можно считать, пустяковое. Ты его провернешь на раз-два. А я... Слушай, честно тебе скажу: я не борец за правду и справедливость на

всем земном шаре. Я для себя живу, и задачи передо мной стоят личные. Выполнишь мое задание — и катись на все четыре стороны, выброшу тебя из головы, а дальше уж смотри. До сих пор не попался — будь осторожен. Но я тут буду ни при чем. Другое дело, если сейчас постараться увильнуть. Не выйдет, брат. Найду и сдам. Попробуешь меня, как говорится, нейтрализовать — на полдороге обнаружу, и тот же итог для тебя. Понял?

— Дело-то какое?

— Очень простое дело, тебе хорошо знакомое, только с обратным знаком. Вы с Сорокой на дом намылились, ты Роме мозги пачкаешь, тянешь время и знаешь, чего делаешь. Хороший дом, что там говорить. Через неделю суд. Готовы с Сорокой его получить? Готовы. А мне чего-то Рому жалко, и жена у него красивая, хоть и старая, но оч-чень красивая, не хочу, чтобы ее зеленые глазки туманились слезами. Ну, вот каприз у меня такой! Так что ты идешь к Сороке, объясняешь ситуацию и направляешь его действия в противоположную сторону. Понял, Вася? Рома должен суд выиграть, получить обратный офис и всю недвижимость, а вы с Сорокой ищите себе другую тему для разработки. Я вам мешать не буду.

— А где гарантии?

— Никаких гарантий. Просто нет у тебя другого выхода, Василек.

— А ты что же? И номер счета узнать можешь?

— Трудно сказать. Не пробовал.

— Ничего, попробуешь. Ты небось еще почище меня будешь. Мы бы с тобой получили хорошей парой, великие дела могли бы делать. Дурак ты. И с чего ты взял, что Сорока все может?

— А я и думать не хочу об этом. Не может — пусть сможет. Иначе... Ну, ты понял. Пошел я, Вася. Давай включайся в работу, время не ждет.

Его беспощадная голова опять пошла в наступление, у Генки не было сил с ней сражаться. Он ходил по своему номеру и тихонько выл. Какого черта он ввязался в эту историю?! Да ведь он и не ввязывался. Его своевольная башка действовала самостоятельно, а ему, Генке-Гвоздю, какое дело до бестолкового утопленника Ромы и его глазастой Аллочки? Ей-богу, пожалеешь, что спас человеку жизнь. Как говорится, не делай людям добра — не получишь зла. Оторвать бы голову и выбросить, без головы и вообще жить легче, слишком много воли она на себя берет...

Ему пора было ехать в город, готовиться к майским выступлениям, но не было сил, он ждал, когда в черепной коробке наступит тишина, однако в этот раз было, наверно, слишком сильное напряжение, самопроизвольно включившийся на полную скорость механизм по инерции продолжал работать после остановки. Генка понимал, что странная способность видеть невидимое — редкий подарок, данный ему природой по какому-то неведомому выбору, и если использовать его разумно (выходит, голова все-таки нужна!), можно повернуть уйму полезных дел, как для человечества, так и лично для себя. Вот ведь гладиатор по имени Вася сразу смекнул: узнать номер любого счета — и вперед. Но, во-первых, пока не понятно, чего может, а чего не может Генкин необыкновенный мозг, а главное, ничего не дается за так. Подарили, например, тебе часы за пять миллионов, а кто-то убьет тебя за них, глазом не моргнув, или ненароком потеряешь в озере, а потом сиди и умывайся крокодиловыми слезами, забыв, что ты мужчина. За все надо платить. Нет, слишком уж высокая получается плата: несколько суток носить в себе разрывающую на части боль, так что в конце концов никаких земных благ не захочется. Да еще и страх появился: самопроизвольное включение любого прибора чревато катастрофой, а если этот прибор — мозговая начинка, то как

обуздать его, как обезопасить? Вот и выходит: носишь в кармане заряженный пистолет и не знаешь, когда он выстрелит.

Генка позвонил Роме, сказал, что простужен и несколько дней не появится, а сам выгуливал свою боль в лесу и ждал, когда туман в голове рассеется, поднимется вверх и окутает прежде голые деревья светло-фисташковым весенним дымом. Внизу, под ногами, влажная земля, едва прикрывшая травой наготу, уже украсила себя белыми звездочками, похожими на цветы тайского редкого растения *гардения флорида*, которые живущие на Таити женщины вплетают в венки, в волосы, носят за ухом. Генка видел однажды этот цветок на плакате турагентства. Русская земля подарила себе экзотику, отобрав у нее буйную пышность и аромат и облагородив скромностью, нежностью и печалью. Скромность, нежность, печаль — чуждые Генке черты — пробивались в душу вместе с белыми полянками под ногами, чистыми, словно вымытыми, стволами берез и прозрачностью, открытостью, щедростью просыпающегося леса, в котором хотелось остаться и быть, не участвуя ни в каких историях, кроме одной: расти, подниматься, дышать и умирать вместе с природой, не сливаясь с ней, но и не отделяясь от нее. Все эти мысли были глупостью, чушью и слабоволием, которые непременно покинут его, когда уйдет медленно затихающая боль. Он хочет жить среди людей красивой жизнью, которая уже сейчас начинает радовать его своими возможностями и его личной возможностью уважать себя и гордиться собой. А как иначе? Он верил, что авантюра со Спартаком-Васей закончится победой справедливости, носителем которой выступает Генка-Гвоздь, человек, помеченный Свыше. Можно было ехать в город, но он хотел дожидаться решения суда здесь, чтобы вблизи разделить с неудачливым Ромой его счастье и полюбоваться лишней раз сиянием зеленых глаз Аллочки. Чужие случайные люди... Для кого он старается? Для них или для себя, укрепляя почву под ногами, и при чем здесь влажная лесная земля и заморский цветок *гардения флорида*, название которого он почему-то запомнил? Теперь в голове ясно, и впереди видится интересная жизнь, к которой он, пожалуй, готов...

Роман кричал в телефон так громко, что Генка едва не оглох:

— Гена, Гена, мы победили! Слышишь, Гена, мы по-бе-ди-ли!!! Так и должно было быть. Честные люди всегда побеждают, я в этом не сомневался. А Спартачок-то каков?! Обещал и сделал. И, ты знаешь, уехал, ничего не сказав. Благородный человек, не хотел моих благодарностей. Надеюсь, скоро вернется.

— Поздравляю, Рома, рад за вас. А мне пора в город.

— Но ты придешь сегодня? Надо отметить.

— Нет, работа ждет, но я же не на Камчатку собрался. Увидимся, Аллочке привет.

Увидимся ли? Чужие люди... Только с часами получилось нехорошо. Генка бы вернул эту многомиллионную ценность, но как вернуть? Что сказать, как объяснить? А с другой стороны... Теперь Рома не нищий, не последний кусок Генка у него отнял. Да и помощь в таком серьезном деле стоит недешево. Сколько адвокат содрал бы за выигранное дело? Да и не выиграл бы, у этого Сороки все схвачено. Так что переживать Генке не о чем.

Он собирал вещи, вспоминая свой разговор с благородным Спартаком: «Я тебе в отцы гожусь». Как бы не так! У Генки-Гвоздя свой отец имеется. Есть же он где-то, черт возьми!.. В голове снова зашевелилась боль. «Опять?» — ужаснулся Генка. Но боль быстро погасла, осталась неприятная мысль: *не хочу больше показывать фокусы*. И еще: он теперь знал, где искать отца.

ЧАСТЬ II. «СЕРЕБРЯНЫЙ»

Глава 1

На гастроли в этот раз он не поехал. Он очень устал, нуждался в отдыхе, хотя исключение его номера из программы заметно ее обедняло и было встречено начальством в штыхы. Но руководитель группы Оскар Серебряный понимал его больше других и готов был пойти на жертву, лишь бы главный герой эквilibра снова и как можно скорее обрел форму. «Возьми больничный, отдохни за городом, поедешь с нами в следующий раз», — хмурясь, сказа он.

Генрих больничный взял и поехал отдыхать в свое любимое место под Петербургом, ставшее теперь почти родным благодаря красоте, свежему воздуху и гостеприимному дому пожилой семейной пары — Ромы и Алочки. Как хорошо, что не продали они десять лет назад свой *дворец*, нашелся человек, Генка-Гвоздь, который уговорил хозяев не расставаться с имуществом, нажитым непосильным трудом. Перебились, перемоглись и снова поплыли по бурным житейским волнам. Молодец все-таки Роман — завел новый бизнес по стройматериалам, процветает, потому что народ принялся исто-во строить квартиры и дачи. А ведь Роме скоро семьдесят. И хорошо, что семьдесят: с возрастом помудрел, обзавелся осторожностью, перестал верить на слово. Теперь его не облапошишь, да и времена настали другие. Двадцать первый век расправил крылья, в воздухе запахло цивилизацией. Однако, конечно, от жуликов и воров никто не застрахован, но на этот случай у Ромы есть Генрих — тридцатипятилетний, почти красивый, умный, талантливый человек. Артист цирка *Генрих Серебряный*...

Здесь, на отдыхе, он каждый день навещал своих пожилых друзей, уцепился за них намертво, не зря же носил прежде кличку «Гвоздь», и ничего в ней не было обидного. Добротный гвоздь — это надежно, прочно, крепко и толково. Чем плох такой друг, почти сын, который, хоть и молод, может дать грамотный совет, потому что природа распорядилась одарить его пытливым умом и артистическим талантом? И все та же природа научила его *таланту перевоплощения*, превратив простого ограниченного парня в интеллигентного мужчину с задушевым голосом и складной речью, так что его, не отягощенного образованием, с удовольствием принимали в любом обществе, как в молодом, так и в солидном. Он смотрел, слушал, наблюдал и впитывал в себя те знания, которые не прячутся в учебники и книги, а летают по воздуху. Их всегда можно поймать, если хватает ловкости и чуткости, если ты умеешь, словно мелкими шурупчиками, скрепить в мозгу обрывки информации и в дальнейшем умело пользоваться полученным изделием. А если к изготовленному тобой ремесленному продукту добавить хоть немного искреннего чувства — получится настоящее художественное творение. Так обычный стул, сколоченный руками вдохновенного мастера, или борщ, сваренный поваром-поэтом, превращаются в произведения искусства. А что может быть прекраснее и благороднее истинного искусства?! Генрих Серебряный, бывший Генка-Гвоздь, был теперь почти благороден и почти прекрасен, если учесть перспективу дальнейшего совершенствования...

В доме своих друзей Генрих чувствовал себя свободно и просто, помогал Алочке готовить салаты, играл с Романом в нарды, иногда выпивал с ним, но, сам не склонный к злоупотреблению веселящими напитками, отучал от дурной привычки несдержанного друга, чем несказанно радовал его жену, и ее теплые чувства к Генриху росли обратно пропорционально выпитому мужем количеству алкоголя. Порой они вдвоем, молодой и старый, совершали набеги на некое подпольное заведение в окрестностях

поселка, но делали это крайне осторожно и умно, чтобы не оскорбить Аллочкины чувства. Они были абсолютно уверены друг в друге и знали, что ни один из них даже под пытками не выдаст страшной мужской тайны. Хотя тайны друг от друга все-таки имелись, по крайней мере, у Генриха — точно. Он не рассказал своему другу-отцу, каким путем удалось ему выиграть суд и получить обратно свою недвижимость. Не из скромности промолчал, а из страха, что от воспоминаний опять вернется головная боль, о которой он вспоминал с ужасом. Не повинился он перед Ромой и за украденные в озере часы, но нашел простой способ реабилитации себя перед собой же: подарил потерпевшему на день рождения такие же, если иметь в виду их цену. Ценный подарок не смутит хозяина: друзья теперь были на равных — оба небедные люди...

Днем Генрих гулял по поселку, слушал сентябрьскую тишину, в которой гулко, как в оставленном людьми большом зале, пролетали и уносились редкие звуки: перекличка женщин через забор, отрывистый собачий лай, шуршание кошачьих шагжков по опавшим листьям. Остановившись однажды возле пустой детской площадки, Генрих долго смотрел на неподвижные качели и вдруг, когда они, пустые, принялись раскачиваться от ветра, почувствовал страшное, почти вселенское одиночество. Вот так будет раскачиваться в космосе опустевшая земля, когда жизнь кончится...

А почему, собственно, она должна кончиться? Генрих ходил по лесу и слушал, как громко, даже весело падает с деревьев сухая листва и ложится у подножий лоскутными деревенскими половиками: разноцветье желтых, красных, бурых обрезков осенней ткани. Увядание вовсе не походило на конец жизни, но подчеркивало ее продолжение. На полянах и около оврагов кудрявился белесыми танцующими кольцами отцветший иван-чай, и усохшие кусты черничника откровенно, не пряча под листья, предлагали желающим разросшиеся до размеров черных виноградин туманно-матовые ягоды. Иногда попадались грибы, но Генрих не рвал их, а любовался, всякий раз восторженно радуясь их внезапному возникновению перед глазами. «Фокус-покус», — думал он и вспоминал прошлое, которое привело его к нынешнему *делу*, ставшему, возможно, *делом его жизни*.

Генка тогда вернулся в Питер, неся в себе остатки изнуряющей головной боли и чувство гордости за совершенный во благо чужих людей поступок: не дать людям пойти по миру — это, как ни крути, Поступок. Во имя Ромы и его красавицы Аллочки он пожертвовал собой и получил в награду четко обозначившийся в странно устроенной голове маршрут. Вперед — по направлению в сторону раскинувшегося на одной из площадей города шатра цирка-шапито.

Он долго стоял перед рекламным щитом, перечисляющим названия цирковых номеров и фамилии исполнителей, никаких знакомых имен не обнаружил. Дрессировщики, эквилибристы, фокусники. Фокусник? Нет, что-то другое. Генка взял билет в первый ряд, хотя знал, что в цирке сидеть на первом ряду не очень-то комфортно. На цирковом представлении он был один раз, в первом классе школы — во время каникул детям подарили культпоход в цирк, в первый ряд, у самой арены, где пахло навозом, потом и еще чем-то неприятным, а в лицо летел песок из-под копыт бегающих под бичом дрессировщика лошадок. Неудобное место, но сейчас неважно. Он должен был хорошо видеть. Кого он увидит? Он не знал, но чувствовал, что не ошибется. Напряженный, сосредоточенный, он сидел, вжавшись в неудобное кресло, и ждал, ощущая не боль, а мутную тяжесть в голове. Грохот музыки, короткие выкрики эквилибристов на арене, костюмы в стразах и блестках, пышные плюмажи с разноцветными перьями — нет, не то. Потом взрыв короткой боли в голове и густой красивый голос шпехтальмейстера:

*Эквилибр на проволоке!
Канатоходцы — братья Серебряные!
Под руководством заслуженного артиста России
Оскара Серебряного!*

Из темной утробы кулис высыпались, кувыряясь, гимнасты в обтягивающих, сверкающих серебром костюмах и разлетелись по арене, забрызгав ее бликующим светом своих одежд. Потом вышел стройный седовласый человек в таком же серебристом костюме и легком темном плаще, сделал неглубокий «комплимент» и хлопнул в ладоши. Гимнасты мигом оказались на мостиках двух столбов, держащих натянутую проволоку.

«Вот что, оказывается, — подумал Генка. — Он не фокусник, он канатоходец, теперь постарел, на канат не лезет, руководит. Понятно, это кличка, вернее, псевдоним. А настоящие имя и фамилия? И вообще, как доказать родство, если мать сдуру дала сыну свою фамилию и придумала отчество. Обиделась она, видите ли...»

Канатоходцев было человек шесть, Генке от волнения не удавалось их пересчитать, он плохо видел трюки, только обратил внимание на мальчика лет двенадцати, которого отважные парни таскали на плечах и голове, творя чудеса на натянутой проволоке. Оскар Серебряный снизу руководил номером, подавал короткие реплики и делал «комплименты» после каждого трюка. Генка не мог оторвать от него глаз, искал сходство: лицо, фигура? Фигура — вот что. Такой же узкий, тонкий, приплюснутая голова. Гвоздь? В мозгу мелькали беспорядочные мысли, стучали в затылке молоточками. «Братья Серебряные. Сколько же у него детей? Вранье, обычное цирковое вранье. Набрал команду, всех посеребрил — вот тебе и братья. А этот мальчик? Может, на самом деле его сын?»

Генка не стал ждать конца представления. Зачем? Он все выяснил, теперь надо действовать. Он нашел служебный выход и приготовился ждать. Сколько ждать? День с утра был почти жарким, редкость для конца мая. К вечеру, понятно, похолодало, и Генка замерз в футболке с короткими рукавами. Но представление еще не закончилось, когда Оскар Серебряный почти вылетел из двери, стремительный, молодежавый, в легкой рубашке и джинсах. Генка преградил ему дорогу, так и не успев придумать, что и как скажет.

— Здравствуйте, — сказал он. — Я к вам. Есть серьезный разговор, очень важный для меня.

Оскар одним взглядом оценил его спортивную фигуру, на миг задержался на обтянутых футболкой мускулах рук и груди и, улыбаясь, посмотрел в лицо.

— Цирковое училище окончил, правильно? Хочешь попасть в номер?

— Хочу, — почему-то сказал Генка, хотя ни о чем подобном не помышлял.

— Кто тебе сказал, что мне требуется гимнаст?

— Никто не говорил. Я так, сам по себе.

— Приходи завтра, в четырнадцать часов. Посмотрю тебя, и поговорим. Сейчас, здесь — пустой разговор. А завтра приходи.

Назавтра Генка, не понимая сам себя, помчался на это странное свидание.

— Ну, иди сюда, на арену, — пригласил Оскар. — Только футболку сними.

— Штаны тоже снять? — ухмыльнулся Генка.

— Снимай, если плавки приличные.

В трусах и майке, ежась, он вышел на ковер и встал перед гимнастом, расставив ноги и раскинув руки, а тот оглядывал его со всех сторон, щупал мышцы, как будто что-то искал под кожей. «Как лошадь покупает, — подумал Генка. — Того и гляди, в пасть заглянет, зубы проверит».

- Прогнись назад. Та-ак. А флик-фляк можешь?
Генка, удивленный, лег на ковер.
- Ты чего? — не понял Оскар. — Чего лег-то?
— Вы сказали «ляг».
— Я сказал: флик-фляк.
— А что это?
— Не знаешь? Странно. В общем, прыгни назад с двух ног, прогнувшись, перевернись и приземлись на прямые ноги.
Генка моментально понял: перевернулся, приземлился.
- Шпагат, стойку на руках делаешь?
— Показать?
— Показывай... А теперь возьми гири. Держи у груди. Тяжело?
— Нормально.
— Иди с гирями на проволоку.
— Ну, это я не знаю, — засомневался Генка. — Могу вниз сверзиться.
— Никуда не сверзишься. Вон она на земле лежит. Иди с гирями по проволоке, не сходи с нее... Ну ладно, ничего, равновесие удержишь. А сальто-мортале делаешь?
— Скажете, что это за зверь, — сделаю.
— Слушай, а почему ты ничего не знаешь? Ты какое отделение в цирковом училище окончил?
— Никакое.
— А где учился? По профессии кто?
— Токарь седьмого разряда.
— Так что же ты голову мне морочишь?!
— Я не говорил, что окончил цирковое училище, — Генка хотел рассказать про фокусы, но передумал. — Я вообще по другому делу пришел.
— По другому меня сейчас не интересует. Давай по этому. Ты спортсмен, гимнаст?
— Нет. Я в спортзал хожу.
— Кто тебя тренирует?
— Никто.
— Самородок, выходит. Звать-то как?
— Генка. Геннадий.
— Слишком длинно. Будешь Генрих. Попробую поучить тебя. У меня один гимнаст уходит, новых смотрю. А из тебя может получиться толк, если, конечно, будешь стараться. Гарантий пока не даю, очень уж ты запущенный. Вижу, талантливый парень, но учиться надо много. Хватит воли?
Чего-чего, а воли у Генки хватало.
— А как же мое дело? — спохватился он.
— Вот это и будет твое дело. Остальное — мелочи. Потом.
Ага, потом. Посмотрим, как ты *потом* запоешь...

Генрих гулял по поселку, вдыхал пропитанный влагой сентябрьский воздух, бодрящий и вместе с тем успокаивающий. Природа, как стареющая женщина, понявшая неизбежность скорого увядания, но не поддавшаяся ему до конца и вложившая все силы для последнего всплеска красоты, любовалась сама собой, и это было грустно, но завораживающе. Генрих чувствовал, как уходит из тела и души усталость, он вот-вот сможет снова заняться делом, да и вообще: *и жизнь хороша, и жить хорошо*. Впереди приятный вечер у друзей. Вчера Рома пригласил его на некое *мероприятие*, о котором упомянул, загадочно шурясь. Сюрприз! Какой сюрприз? Завтра, мол, увидишь...

Сюрприз начался прямо от входной двери, которую открыл Генриху не хозяин, а невысокий мужчина средних лет в не соответствующих сезону шортах и тонком свитере с высоким воротом и короткими рукавами.

— Здравствуйте, проходите, — радушно сказал незнакомец.

— А Роман? Он дома?

— Дома, дома, — закричал из комнаты Роман, — иди к нам, Гена.

Накрытый стол, Аллочка в длинной юбке, изумруды на ее груди и в ушах, Рома, улыбающийся, казалось, всем телом, и скромная девушка в узких брючках, забравшаяся с ногами на диван. Цепкий взгляд Генриха сразу вычленил девушку из группового портрета — ему понравилась ее поза, свободная, домашняя и одновременно подчеркивающая крутизну бедер и очертания обтянутой брюками попки. Хитрость, не отличимая от естественности. Женский артистизм. «У нее хорошие показатели», — мимоходом подумал Генрих.

— Вот знакомься, Гена. Наш сын Михаил и его жена Диана. По-простому — Дина. Из солнечной Америки прямо в наш медвежий угол.

— Я рад, — сказал Генрих.

— Садитесь все за стол, — затарахтел Роман. — Аллочка постаралась на славу, русские национальные блюда, так сказать, — вкус Родины: винегрет, селедка, студень и много прочего. И водочка — это уж само собой.

— Рома в своем репертуаре, — улыбнулась Аллочка. — Слава богу, у нас есть Генрих, сдерживающее начало, — обратилась она к сыну. — Он работает в цирке, пьет мало и умеет воспитывать старшее поколение.

— Ну, Аллочка, сегодня ты уж не сердись на меня. Сегодня такой праздник! Пятнадцать лет не видели сына.

Да, Генрих это знал. Пятнадцать лет они не виделись. Почему? Теперь не советские времена, могли бы ездить туда-сюда. Или случилась какая-то ссора? У болтливого Ромы все-таки имелись свои тайны, а Генриху они, в принципе, были ни к чему, тем более что его безоговорочно заинтересовала Дина — чужая жена, лет на двадцать моложе своего вполне обыкновенного мужа.

Русская американская женщина. Без косметики, длинные, небрежно распущенные русые волосы, брюки и цветастая блузка. Обручальное тоненькое колечко на левой руке — по-ихнему, и никаких других украшений. Скромная, но не застенчивая. Пьет, не кривляясь, не по глоточку, но аккуратно. Пирогов не ест. Хлеба не ест, только булку и совсем немного. Бережет фигуру? Она не толстая, но и не тоненькая, тело есть. Очень интересная девушка! Невестка друга. Диана...

Глава 2

Первое время в цирке Генка не рассказывал Оскару о «своем деле». Он был занят работой и только по вечерам дома, под осторожное ворчание матери, понявшей, что сын занят чем-то важным и, возможно, перспективным, — он думал, как и когда поделится с Оскаром своими биографическими познаниями, в которых не сомневался. Но на работе все посторонние мысли вылетали из головы, оставалась одна: получится, обязательно получится. Во время репетиций на манеже он легко научился всем этим «флик-флякам», «сальто-мортале» и «винтам», но когда делал первые шаги по проволоке — струхнул. Канат, конечно, был натянут низко над манежем, не выше двух метров; и страховочный трос надежно крепился к лонже; и балансир весом двенадцать килограмм казался не таким уж тяжелым в мускулистых натренированных руках; и в конце концов можно было повиснуть на проволоке, а потом спрыгнуть на арену,

но Генка испугался. Нет, не потому, что боялся разбиться — хотя и это тоже, — но главное: он боялся опозориться перед «серебряными братьями», которые уже поняли, что этот парень заткнет за лонжу всех остальных, и уже ревновали «отца» к новичку, и уже ждали, когда он сорвется со своего высокого положения любимца. Генка стоял на мостике, держа у груди балансир, и никак не мог решиться сделать первый шаг.

— Давай-давай, — спокойно подбадривал снизу Оскар, хорошо понимая ужас новичка канатоходца. — Ставь опорную ногу, молодец, хорошо. Теперь носком свободной ноги нащупай проволоку. Так, хорошо. Скользи свободной ногой вперед на ширину шага, перемещай на нее вес. Аккуратно! Держи равновесие.

Генка весь взмок, пока добрался до второго мостика. Но ничего, справился. И сразу обнаглел.

— А без баланса можно ходить?

— Можно, но не нужно, — ответил Оскар, довольно потирая руки. — Тебе, дорогой, далеко еще до подвигов. Посмотрим, куда ты взлетишь, когда поднимешься на настоящую высоту. Много простора будет для полетов.

Серебряные братцы с готовностью заржали.

— Что ржете? — оборвал их Оскар. — Идите работайте. Антон, быстро на манеж!

Мальчик Антон испуганно вскочил с бордюра, сплюнул за борт жвачку и пошел на руках вдоль борта, болтая в воздухе ногами.

— А ну, кончай комедию! — прикрикнул на него Оскар.

Генка уже знал, что из всей честной компании братьев Серебряных только Антон — настоящий сын руководителя группы и, конечно, никакой не Серебряный, а что-то вроде Попова или Попцова, что в любом случае не имело к Генке никакого отношения, но вовсе не опровергало родства. Какая разница, у кого какая фамилия и откуда она взялась? Мать записала сына Геннадия на свою фамилию — ну и что? Ладно, потом разберемся.

Антон Генка жалел, слишком строг был к нему отец, часто наказывал, но не как взрослого артиста, типа: выговор объявлю или премии лишу, — а именно, как ребенка: в кино не пойдешь, мороженого не получишь. Мальчик, лишенный детства. Или не так? Разве Генкино детство было лучше? А тут — одиннадцать лет, и уже артист. Настоящий мужчина, сильный и бесстрашный — в одиннадцать-то лет! Так что не стоит делать поспешных выводов.

Нельзя сказать, что Генрих Серебряный так уж быстро овладел техникой хождения по канату. Бахвалиться нечего. И срывался, и висел, как тюфяк, на проволоке, не решаясь спрыгнуть. И падал, и мысленно благодарил лонжу за помощь, но злился на себя за то, что эта помощь понадобилась. Обучение Оскар проводил медленно, постепенно, по каким-то специальным методикам постановки корпуса и головы, но главенствовала так называемая техника «нахаживания»: на небольшой высоте канатоходец отсчитывал шаги по проволоке, доводя их до автоматизма, чтобы появились уверенность в себе и смелость. Потом перешли к бегу по проволоке, прыжкам на скакалке и подняли наконец канат на высоту пять метров над манежем. На ногах и руках появились мозоли, тело ныло и скулило, но каждый раз, переодеваясь после репетиций, Генрих ощущал в себе новое, неведомое прежде чувство — не самодовольство, а удовлетворение трудом, которого много уже потрачено и еще больше потребуется.

Сальто назад получалось у него неплохо, а вот переднее сальто, когда гимнаст не видит проволоки, давалось тяжело. Но он научился и этому труднейшему элементу эквилибра.

Когда он в первый раз чисто выполнил переднее сальто, серебряные братья выстроились на арене в линию и заплодировали, а Антон громко выкрикнул: «Ура, Генка!»

Как в детстве, только «Гвоздя» не хватало. Оскар, едва заметно улыбаясь, похлопал его по плечу и сказал тихо:

- Вот какая у нас дружная семья, Генрих.
- У вас только один сын, Антон. Был один, а теперь двое, — удачно ввернул Генка.
- Нет, я многодетный отец, — засмеялся Оскар, — крупный специалист в делании и воспитании сыновей.
- Не скажите, — осторожно заметил Генка. — Одного сына вы проглядели, папаша.
- Это кого же?
- А меня.
- Вот тебя-то я как раз и не проглядел. Ты очень кстати передо мной нарисовался, а я сразу смекнул: гибкий, мускулистый, сильный.
- Весь в вас.
- Ты, может быть, даже покрепче меня. Только не наглей, умерь апломб. Я чванства не люблю, все мои мальчики это знают. Знай и ты.
- Я понял. Вы к родному сыну относитесь строже, чем к остальным. Боюсь, и со мной так же получится.
- Одинаково я ко всем отношусь, требую трудолюбия и дисциплины. Ты не будешь исключением.
- Но я же исключение...
- Во-от, началось. Уверенность в себе, Генрих, — черта хорошая, но самоуверенность — гибель для циркового артиста. А наше дело и без того опасное. Тебе еще учиться и учиться, всю жизнь придется учиться, если хочешь стать настоящим канатоходцем.
- Да ладно вам нотации читать, — вдруг разозлился Генка. — Я тоже могу лекцию прочесть — о нравственности и морали. О том, как некоторые отцы бросают еще не родившихся сыновей, бегают по проволоке и не видят, что внизу творится.
- Не понял. Ты о чем сейчас?
- О вас, многодетный папаша. Знаете, зачем я с вами встретился? Хотел, чтобы вы посмотрели на взрослого сына, которого бросили в брюхе у матери.
- Кажется, ты перенервничал, Генрих. Иди отдохни. Переднее сальто — это достижение, много сил отнимает.
- А я спокоен и доволен собой. Самое время нам поговорить.
- Ну, пойдём поговорим, — несколько натянуто улыбнулся Оскар, направляясь к бордюру. — Перерыв! Антон, походи немного, подыши, — хлопнув в ладоши, крикнул он.
- «Братья» уселись рядком на бордюр с другой стороны манежа, Антон поплелся по арене, кривляясь и дыша громко, как паровоз.
- Кончай кривляться, — осадил его Оскар и повернулся к Генке: — Давай говори. Что там у тебя?
- У меня тоска по родному папе, — Генка чувствовал, что не может подобрать нужные слова и сбавить тон. Хамить нельзя — подсказала ему интуиция, и он продолжал, стараясь быть вежливым: — Все просто. У моей матери был муж, ну, может, не муж, а сожитель, дело житейское. Он удрал, когда я должен был родиться, убежал по проволоке от ответственности, стал Оскаром Серебряным. А вообще-то, как вас зовут?
- Не все ли равно? Забыл.
- Ничего вы не забыли. А мать мою, Клавдию Ивановну, помните?
- Оскар призадумался.
- Это она тебе про меня рассказала?
- Нет, тут другое. Она не любит о вас говорить. Я сам нашел.
- Каким же манером?

- Какая разница?
- Разница большая. Ты можешь ошибаться.
- Я не ошибаюсь никогда.
- Ничего себе!
- Так помните мою мамочку, Клавдию Ивановну?
- Помню, — задумчиво сказал Оскар.
- А вину свою перед сыном чувствуете? — ухмыльнулся Генка.
- Пойдем работать. Ты еще расскажешь мне о себе. Позже. Будешь седьмым сыном.
- Вторым. Вернее, первым, по счету и по наследству. Это ведь от вас у меня талант. А я еще фокусы умею показывать. Оп-ля! — он взмахнул рукой и вытащил из-за ворота Оскара свой платок. — Фокус-покус.
- Кто учил фокусам?
- Сам учился.
- Потом покажешь. Это может пригодиться. Давай на проволоку. Еще раз переднее сальто.

Ничего не изменилось. Генка по-прежнему был седьмым Серебряным, хотя все-таки первым, — Оскар одержимо готовил его к выходу на манеж и работал главным образом с ним. Генка ждал душевного разговора, чтобы поведать вновь обретенному отцу о своей жизни, о фокусах и, может быть, о неразрешимой загадке природы, наделившей его волшебным свойством *видеть*. Но разговора не случилось.

— Вас совсем не интересует моя жизнь? — спросил он однажды, не решаясь переходить на «ты» и понимая, что этого делать не следует.

- Интересует, конечно, — неохотно ответил Оскар, — но сейчас не время.
- Похоже, вы черствый человек.
- Похоже. Работа у нас такая, грубеем быстро. Но знаешь что? Давай так договоримся: твоя жизнь начинается с чистого листа, будешь уделять ей побольше времени, отдавать себя полностью.
- Жизнь не заканчивается и не начинается на манеже, — философски заметил Генка.
- Да, наверно... Подожди. Тебе нужны деньги?
- Нужны, — вскинул гордую голову Генрих Серебряный.
- На возьми.
- Как нищему подаете.
- Я не только тебе готов помочь. Ребята часто обращаются. Молодые вы, запросы у вас немалые. Бери, бери, потом отработаешь сполна.

Генка, разумеется, взял, потому что мать давно уже перешла в наступление, а он боялся да и не хотел что-то объяснять раньше времени. Деньги были нужны. Оскар Серебряный помогал Генриху, *как всем*. Но он — не все. Он ждал, что его пригласят домой, в семью, посадят за стол, познакомят с женой. Ничего подобного. Иногда все «братья» приходили к «отцу» на чаепития, Генка был равным среди них. А он вовсе не равный. Что же за человек его отец?!

И все-таки какой-никакой разговор между ними состоялся. Повод, правда, получился не из приятных, с одной стороны, а с другой — для Генкиного положения в группе очень даже полезный. Неудачный трюк — один из силовых гимнастов не удержал на плечах маленького Антона. Мальчик полетел на манеж и, еще не успев повиснуть на страховочной лонже, оказался в объятиях мгновенно подскочившего Генки. Ничего страшного не случилось — только ужас на лице ребенка, а потом — дрожь во всем теле и слезы, которые юный мужчина старался сдержать и с которыми пока не научился справляться. Генка прижал его к себе, стоял неподвижно, не отпускал и чувство-

вал, как по щекам бегут его собственные слезы. *Его слезы*, непростительная слабость гимнаста-канатоходца. Впрочем, никто не осудил слабака — не до того было. Оскар осторожно освободил ребенка из объятий спасителя, положил на землю, ощупал и сказал Генке, не выпускающему из рук кисть мальчика:

— Все нормально. Пойдем к машине, домой поедем. Ты с нами...

Они обедали вчетвером. Жена Оскара, Нина, молодая уютная толстушка, спокойно подавала на стол и молчала, лишь иногда вскидывая на сына тревожный взгляд. Генка видел ее не раз и во время коллективных чаепитий, и иногда в цирке. Она приходила за Антоном, ждала его, сидя в первом ряду и наблюдая за репетицией. Оскар гонял мальчика, кричал, бил по рукам и ногам, а то и по лицу, — она не вмешивалась. «Вот садист, — думал Генка. — А она молчит. Может, он и ее поколачивает, привычка такая — руки распускать». Впрочем, ни с Генкой, ни с другими «братьями» Оскар рукоприкладством не занимался...

После обеда, желая развлечь все еще заторможенного ребенка, Генка показывал фокусы. Никакого специального реквизита, конечно, не было. Он брал все, что попадет под руку, случайные предметы летали в ловких руках и исчезали, возникая в неожиданных местах, а под конец из-за пазухи был извлечен мяукающий и царапающийся котенок, что вызвало у мальчика неудержимый смех, скорее всего, все-таки реактивный. Нина, ни слова не говоря, ласково увела его в другую комнату — отдыхать.

Генрих с Оскаром остались одни, выпили немного коньяку, и отец наконец попросил: — Расскажи о себе.

Генка рассказывал. Не то чтобы сочинял, но приглушал краски, убирал мрачные тона и не вдавался в подробности. Так, кое-что из вполне нормальной юношеской жизни, биографические сведения из жизни артиста. На вопрос же, как он умудрился разыскать отца при полном отсутствии сведений о нем, отвечать не стал, ссылаясь на длительность и запутанность истории. И про свой *дар* промолчал — все равно ведь не поверит...

Потом отец пошел проведать мальчика, Генка остался в комнате один и обратил наконец внимание на то, что его окружает: дорогая, но строгая мебель, скромная полка с книгами, фарфоровая напольная ваза с восточным орнаментом, небольшая «горка» с хрусталем и фарфором нездешнего производства — сувениры с гастрольных поездок. Светлые обои с геометрическим рисунком, никаких картин и картинок, но часть одной стены превращена в стенд для памятных фотографий. Конечно, семья, жена, ребенок — в разные годы и в разных композициях, но больше всего снимков отца семейства, артиста, канатоходца: на натянутом канате, в группе, на гастролях. И один портрет: Оскар Серебряный «на поклоне» — молодой красавец с сияющими глазами и белозубой улыбкой, любимец публики и женщин...

Прощаясь, он сказал:

— Ты еще будешь показывать свои фокусы, Генрих. На проволоке.

Первое выступление Генриха на арене прошло безукоризненно: скромная второстепенная роль новичка, *одного из...*, в общем, практически на подхвате. «Братья» и отец Генку, разумеется, поздравляли и напутствовали, он благодарил и давал обещания, но никто не знал, что он чувствовал на самом деле, какое счастье он испытал, когда шагал с балансиром — надежным помощником, подчеркивающим значительность и силу гимнаста, — по протянутому в воздухе узкому шнурку твердой поверхности, и дорога впереди была в его власти, а земля лежала у ног, даже не у ног, а ниже, много ниже, он царил над людьми, красивый, сильный, всемогущий. Он почти летел и снова испытывал *вдохновение* — вдохновение полета и своей власти над миром...

Первую зарплату Генка целиком отдал матери.

— За что это так много платят? Опять во что-то ввязался?

И он наконец рассказал о своей чудесной работе.

— Я теперь артист, в цирке работаю, эквилибристом.

— Кем-кем?

— Ну, трюки разные показываю.

— Трюки? Оно понятно, ты известный трепач. И за эти кривлянья деньги платят?

— Как видишь.

— Так ведь опять бросишь, надоест тебе, непутевому.

— Нет, не надоест. Мне нравится.

Они сидели рядом на диване, мать быстро, профессионально пересчитывала деньги, не решаясь выпустить их из рук.

— Я и сама в молодости кувыркатся умела. У меня разряд был по спортивной гимнастике.

— У тебя?!

— А что ж я, по-твоему, весь век в магазине торчала? Я на районных соревнованиях хорошие места занимала, хотела в спортивный техникум поступить. А тут твой папаша, паразит, подгреб незаметно и влез в душу.

— А у тебя есть его фотографии?

— Да на черта мне его фотографии? Урод, пьяница, сбил с пути девушку и сгинул, нашел себе потаскуху.

— Я бы хотел посмотреть на обидчика своей матери, — изрек Генка, внутренне потешаясь над собой.

— Погоди, какая-то фотка есть. В парке снялись, в автомате.

Она порылась в шкатулке, отыскала старый черно-белый снимок.

— Вот, любуйся.

Мать, молодая, в кудряшках «шестимесячной» завивки стоит, вытянувшись в струнку, с застывшей на лице резиновой улыбкой. Высокий тощий парень обнимает ее за талию и нагло улыбаются, щепоткой держа у лица папироску. Типичный блатной. Она что, не видела, с кем имеет дело? Но, в конце концов, внешность обманчива, мало ли чем он девушку купил? И не в этом дело. Дело в том, что никакого, даже отдаленного, даже приблизительного сходства не было у этого парня с молодым белозубым Оскаром.

— А это точно он? — растерянно спросил Генка.

— Нет, киноартист, — огрызнулась мать, отнимая фотографию. — Глаза бы не смотрели...

«Как же так, — думал Генка, — обманула меня природа? Отобрала свой дар, и теперь получается, я такой, как все. Или я чего-то не понял, потому и ошибся, не в ту сторону пошел. Но как же Оскар? Он же не отрицал, согласился: мол, отец я?»

Генка пришел на репетицию, переоделся, подошел к Оскару и словно выплюнул ему в лицо, даже не заметив, что обращается на «ты»:

— Ты что ж мне мозги пудрил?! Отец, отец... Зачем наврал?

— Успокойся, Генрих. Я же говорил: вы все мои дети, кровные или некровные — не имеет значения.

— Ты сказал, что мать мою помнишь...

— Ты этого хотел, я и сказал. Я рад, что у меня такой сын появился. Давай работать.

«Обманула природа? — размышлял Генка, разминаясь. — Не в ту сторону пошел? Да как же — не в ту? Именно куда надо, туда и пошел, нашел свое призвание. И я не такой, как все. Я выше. Эквилибрист на проволоке Генрих Серебряный!..»

Глава 3

Принцесса Диана... Нет, не известная принцесса Ди, носительница голубых кровей импортного производства, made in Britain. Кто отец этой скромницы, усевшейся с ногами на диван? Какой-нибудь еврей из «местечка», сапожник или портной, который выбился в люди и в поисках лучшей жизни, как Колумб, открыл для себя Америку. Давным-давно, когда никакой Дианы не было в помине, он совершил свой бросок в счастье, приспособился, устроился, женился и подарил миру дочку, русскую коренную американку, сохранившую в себе Родину как родительскую память и ее многоцветный язык, трудный для иностранца, и неосознанную «любовь к отеческим гробам». Эта принцесса оказалась не представительницей королевской династии и вообще не натуральной, не земной, а сказочной; внутри нее намешано множество несовместимых друг с другом таинственных свойств, образующих невидимое невооруженным глазом волшебство. Именно это невидимое волшебство обнаружил с первой минуты человек тонкой артистической организации — Генрих Серебряный. Едва взглянув на Диану — в просторечии Дину, — он понял, что всегда привлекало его в женщине, чего он искал и не находил. Ему, оказывается, нравились в женщине лукавство, игра, может быть, даже коварство, потому что он был прирожденным артистом, фокусником, эквилибристом. Нет, нет, не простая она, эта девушка, взявшая в мужа немолодого обыкновенного Мишу, ох, не простая...

Они гуляли с Романом по засыпающему на зиму в лиственных сугробах поселку, и Генрих слушал рассказы своего болтливового спутника, которые его не интересовали в принципе и еще потому, что о принцессе Диане, Дине, он сам хотел все узнать и понять, полагаясь на свою интуицию и наблюдательность. Тем более что Ромины суждения были, конечно, субъективными и, что говорить, довольно примитивными. К тому же возрастными. К тому же — отцовскими.

— Миша у нас непутевый, — докладывал Рома. — Ни к чему нет тяги, институт окончил кое-как, полуграмотный инженер, а тут перестройка, новая революция, капитализм грядет. Что ему здесь делать? За границу потянуло, там, мол, демократия, преподадут хорошую жизнь на блюдечке с голубой каемочкой. Мы с Аллочкой были против, объясняли, что трудно ему придется в чужом мире, где деньги на первом месте. Не слушал. Вы же, молодежь, старых людей не слушаете, не верите в стариковскую мудрость. Бизнесом, говорит, займусь. Я ему вдалбливаю, что бизнесменом, как художником или музыкантом, надо родиться, для этого талант требуется. Все напрасно, уперся, уехал...

«Ишь ты, — думал Генрих, — талантливый наш, сам-то куда полез, чуть по миру не пошел. А туда же — учить молодое поколение».

— Уехал со скандалом. Не хочу, говорит, вас знать, родители сыну добра желают, а вы только чините препятствия. Ну, потом пришел в себя, подобрел, наладили связь, но уж очень сильно отделились друг от друга. Чего он там делал пятнадцать лет, чем занимался, — мы так и не поняли. Женился три раза, одна — латинос, другая — черная, а эта вот, Дина, наша, из семьи эмигрантов. Вроде любит его. Как ты думаешь?

— Не мне судить, — уклончиво ответил Генрих. — А надолго они сюда прибыли?

— Похоже, насовсем.

— Вот тебе и раз! Пятнадцать лет — псу под хвост?

— Вот такой он, наш Миша. Хотя он ведь не сам решил вернуться, это его жена подбила, Дина. Я так думаю, не очень-то им сладко жилось в Америке. Узнала, что у мужа на родине небедные родители, и уговорила сесть нам на шею.

- Ты как будто недоволен?
 - Не знаю, что сказать. Я старый, как потяну всех? Да еще ребенок родится...
 - Они ждут ребенка?
 - Говорят, что никого не ждут. Но будет же ребенок, она молодая, тридцати лет.
- У Миши в Америке целый питомник — пять или шесть разноцветных мальчиков, от прошлых жен.
- Может, он от детей удрал?
 - Умный ты, Гена, как в воду смотришь. Я тоже думаю, что оба они сбежали от детей, от ответственности, под папочкино крыло. Вот и размышляю: что с ними делать, куда пристроить? Плохой я отец. Согласен?
 - Не согласен. Ты человек азартный, деловой, придумашешь что-нибудь толковое для сына. А жена его — и сама не пропадет.
 - Да нет, очень уж она тихая.
 - В тихом омуте черти водятся, — изрек Генрих мудрый народный афоризм. — А кто она, вообще-то? По-русски говорит чисто, будто здесь родилась.
 - Нет, не здесь. Но у нее отец строгим был, ни слова дома не разрешал говорить по-английски. За каждое английское слово наказывал.
 - И зачем ему это было нужно?
 - Видно, патриот своей родины, — засмеялся Роман.
 - Ну, и где он теперь, этот патриот?
 - Да-а... темная история. Во что-то они там ввязались... В общем, погибли и мать, и отец. Оставили девочку одну. Пропала бы она, да Миша спас. Что улыбаешься? Я правду говорю. Так веришь ли? Динка потом Мишу обратно русскому учила. Ты заметил? Он с акцентом говорит, а она чешет и чешет, словно по писаному. Способная девочка.
 - Ну-ну...

Цирк вернулся с гастролей, пора было возобновлять репетиции, обретать форму, готовить новую программу. Генрих уже скучал по манежу, по спокойному и пылкому «отцу», по «братьям», которые постепенно, смиренные разумной политикой руководителя, превратились из коварных тигров в домашних котов. Первые годы Генриху пришлось туго. Каждый гимнаст считал себя гением своего дела, рвался к личной славе и не мог допустить, чтобы какой-то проходимец, уличная дворняжка становился любимцем «папы» и центральной фигурой номера. Генрих мог и умел все: танцевал на канате, разувался, скидывал серебряные одежды и ложился на канате «спать», умел эффектно монтировать трюки — по-цирковому, «продавать» номер. Особенно он любил срывать в «апфель» — делать вид, что падает с проволоки, под испуганный рев цирковой публики. Он страстно любил эти секунды падения, свободного полета и хотел бы, чтобы они длились дольше, а душа прорастала через оболочку тела и парила в воздухе, как птица. Но Генрих Серебряный был классным гимнастом — он благополучно впрыгивал на надежную твердь каната и, купаясь в звуках аплодисментов, похожих на долгий вздох облегчения, делал лучезарный «комплимент». А потом Оскар придумал новый трюк: Генрих Серебряный во время своего сольного выступления показывал фокусы. Пришлось отказаться от балансира и страховки — его руки и тело должны были быть свободными. Он ловил шары из воздуха, вытаскивал из волос разноцветные флажки и приветствовал зрителей азбукой Морзе, выбрасывал из ладоней ленты, которые, струясь разноцветным водопадом, вдруг превращались в скакалку, а артист, прыгая через нее на проволоке, оказывался запутанным, как кукла, и шел к мостику механическими шагами заводной игрушки.

Братья Серебряные не могли не признать его первенства, но это понимание только усиливало ревность. Серебряное море искусства плескалось, волновалось и готово

было выйти из берегов. Как положено в актерской среде, нет-нет да и возникали анонимные и весьма опасные пакости, которые Генрих переживал тяжело, но молча, без жалоб и шумных расследований, еще яростнее овладевая мастерством. Вот не подали ему руку перед выходом на мостик; вот силовой гимнаст отдал пальцы ног; вот не удержались, насыпали все-таки в чешки битое стекло, и он протанцевал в этих «испанских сапогах» весь номер, а потом выбросил любимую и привычную обувь, всю пропитанную кровью.

Так было раньше. Тот, первый состав группы давно сменился. Мудрый Оскар многое видел, открыто не вмешивался в игру самолюбий, но делал умелые рокировки, удалял одних гимнастов, находил других, омолаживал состав группы. Он играл своими «детьми», как жонглер булавами, и ни одна булава не падала на землю случайно — просто изымалась из употребления по ходу номера.

Нынешний состав группы был совсем молодым, хвастать и гордиться гимнастам было пока нечем, завистливые поступки, как желторотые птенцы, сидели глубоко в гнездах душ. Теперь «братья» были статистами, а Генка-Гвоздь, оправдывая свое прежнее прозвище, стал *гвоздем программы*. На его заслуженный авторитет никто не посягал, за исключением выросшего Антона. *Кровный* стал *кровожадным*, папе и «брату» Генриху приходилось идти на хитрость, чтобы успокоить кипение юной крови. Антона готовили Генриху на замену, хотя все знали, а возможно, и сам юноша понимал, что замена получится неравноценной.

На репетициях мальчишка вел себя безобразно, ему уже не грозили детские наказания, а взрослые — и подавно, не уволит же отец своего ребенка, представителя *династии*, наследника, не выгонит же на улицу! Молодой Антон Серебряный был хозяином положения, капризничал, грубил, убежал с репетиций. Оскар уже не мог с ним справиться и часто обращался к Генриху, словно настоящему старшему брату: «Уйми ты его, Генрих, он тебя слушается». Да, слушался и боялся, ненавидел и подчинялся, но Генриху не нравились ни роль надзирателя с плеткой, ни положение доброго «дядьки» из барской семьи, потому что он знал: юноша *болен* самолюбивым и безнадежным стремлением к первенству, и главным вирусом, отравляющим нестойкий организм, был он, Генрих — «Гвоздь» программы канатоходцев. Как можно вылечить хроническую болезнь, если ее источник постоянно находится рядом с больным?

В тот день Генрих опоздал на утреннюю репетицию — стоял в мертвой, словно приросшей к земле, «пробке», чертыхался, ругался, бил по рулю кулаками и давал бесполезные короткие гудки. Когда «пробка» со свистом вылетела из пузырящегося гневом нетерпения, он дал газ и помчался вперед, обгоняя ползущие автомобили и забыв об осторожности. Он не привык опаздывать. Взмыленный, чувствуя дикую головную боль, он поспешил на манеж, не удивляясь непривычной тишине и зная заранее, что случилось. Он ворвался в тишину, словно пробил стену, увидел столпившихся у каната братьев и взглядом перелистал их, как книгу, — кого нет? Пустое занятие, он знал, кого нет в этой молчаливой толпе. Серебряные замерли неподвижным кружком и молча смотрели в центр круга. Оскар, стоя на коленях, повернулся к Генриху и прошелестел белыми губами:

— Видишь, Генрих, как нехорошо опаздывать. Пришел бы ты на пять минут раньше — поймал бы моего мальчика.

Сразу и безнадежно... Один миг полета — и жизнь, эта резвая бегунья по трассе марафона, рвет ленточку на финише. Но ее уже обогнали — чемпионка-смерть опять оказалась победительницей. Многократная чемпионка мира...

Генрих потом вспоминал, что первая мысль, пришедшая ему в голову в тот момент, была чудовищно подлой и могла быть оправдана только непослушным, не подчиняющимся хозяину мышлением. Он подумал тогда, что очень устал от этого амбициозно-

го мальчишки, из-за которого скоро, очень скоро его, Генриха Серебряного, вышвырнут из номера, по возрасту или по какой-то другой причине, потому что родной сын для отца дороже, чем все Серебряные, вместе и по отдельности взятые. Мысль мелькнула и исчезла, а на смену ей пришли тоска и жалость к мальчику, Оскару, его жене и всему человечеству, — эта отвратительная жидкотелая амеба, от которой он всю жизнь безуспешно хотел избавиться. Он сидел на манеже и плакал. И не он утешал и пытался привести в чувства «отца», а отец сидел рядом с ним, вытирал его слезы и призывал успокоиться.

Три дня Оскара не было в цирке, потом Антона хоронили, и мускулистые гимнасты рыдали, как дети, только отец и мать стояли молча, взявшись за руки. На четвертый день Оскар вышел на манеж, хлопнул в ладоши и произнес свое обычное:

— Начинаем репетицию. Все — к проволоке.

С горем каждый человек справляется по-разному: кто-то замыкается в себе, кто-то плачет и надолго отказывается от жизни, кто-то ожесточается и становится агрессивным, а кто-то продолжает активно жить дальше, понимая, что человек не зря пришел на землю и должен пройти свой путь до конца. Разумеется, Оскар был из числа последних, но он, малоразговорчивый мужчина, снедаемый пожаром изнутри, окунулся в успокаивающий прохладный поток человеческой разговорной речи. После репетиций он под тем или иным предлогом задерживал Генриха, усаживал на край бордюра и говорил: о прошлом, о том, что случилось, и о будущем, которое состояло для него теперь, — как, впрочем, и прежде, — из протянутого между стойками каната и семьи, сократившейся до двух человек. И еще о своей вине, о том, что не должен был брать сына в смертельно опасное дело, о том, что не уследил и погубил талантливого мальчика.

— Вот, Генрих, теперь ты у меня один сын остался, — сказал он однажды. — Боюсь за тебя, очень уж ты бесстрашный. Отчаянный.

— Со мной ничего не случится, я это чувствую, — ответил Генрих, пытаясь спрятать неуместную в данном случае, но по-детски неудержимую радость: сын! — Антоша болен был, — неожиданно для себя произнес он.

— Почему болен? В том-то и беда, что абсолютно здоров, жить бы и жить...

— Он хотел быть лучшим и понимал, что не получается. Он упал в тот момент, когда это осознал.

— Хочешь сказать, убил себя?

— Не знаю. Это был миг отчаяния. Тщеславие погубило его.

— Ну, с чего ты взял? Ускользнуло внимание, неправильно поставил ногу.

— Потому и ускользнуло. Он все время страдал, а мы не заметили. Я-то должен был знать.

— Как же тебе знать, если отец не догадался? Ты что, ясновидящий?

— Примерно, — кратко ответил Генрих и поспешил закрыть тему

Ты у меня один сын. Какая разница, родной или неродной, если уважаемый тобой, почти любимый человек выбирает тебя из многих, чувствует в тебе свою опору, свое продолжение? Через несколько лет Оскар с помощью молодой жены родил еще одного мальчика, но положение Генриха не пошатнулось. Он считался самым главным, самым высоко оплачиваемым артистом в группе. У него была настоящая жизнь, не пустая, мимолетная, а наполненная трудом, опасностью, вдохновением жизнь, внутри которой человек работает над собой, преодолевает достигнутые результаты, иронично относится к собственным слабостям и прощает слабости людские. Сила рождает великодушие. Успешный человек может позволить себе стать добрым...

Генрих давно уже пытался полюбить свою мать, теперь, с высоты положения, задача казалась ему несложной, тем более что в данном конкретном случае любовь могла

произрастать на благодатной материальной почве. Мать должна была жить комфортно, и этот комфорт обеспечит ей знаменитый сын. Он обменял с доплатой свои две комнаты в коммуналке на однокомнатную квартиру, поселил туда мать, себе временно снял студию и приступил к строительству личного, просторного и *богатого* жилища. Мечты упорно сбывались...

К тридцати пяти годам он уже имел все, что может пожелать на этом свете человек, не слишком прихотливый, не стремящийся объять необъятное. Он был по-прежнему в хорошей форме и рассчитывал еще лет десять продержаться на своем горизонтальном олимпе. Иногда, правда, уставал, и тогда «папа» отправлял его за город, на отдых.

Глава 4

Перед отъездом в Питер Генрих зашел к Роману — попрощаться. Дверь открыла Диана, босая, в коротком голубом халатике колокольчиком. Летний колокольчик на осеннем ветру, тонкий и звонкий.

- А наших нет, — приветствовала она Генриха. — С утра в город уехали.
- Я тоже собираюсь. Хотел попрощаться.
- Так заходи, подожди. Они уже должны вернуться. Хочешь, сварю кофе?
- Не откажусь.

Она отошла готовить кофе, Генрих присел за круглый столик в той части зала, что служила гостиной. Какое-то нетерпение овладело им, хотелось двигаться, что-то делать, говорить. Он встал и подошел к небольшой книжной полке, почти вплотную приулюлившейся к кухне. В этом доме было много книг, в том числе серьезных, исторических, искусствоведческих, мемуарных. Кто их читает, Генрих так и не понял. Он не мог представить ни мужа, ни жены с книгой в руках. Тем не менее печатное слово в больших количествах наполняло дом, не обходя даже кухню и туалет. В туалете на изящной полке выстроились в ряд детективы, а кухня предлагала вниманию желающих классическую и современную поэзию, демонстрируя удачное сочетание духовной пищи с физической.

Стоя у книжной полки, Генрих внимательно изучал корешки, делая вид, что увлечен и этим занятием, и поэзией как таковой, хотя Диана стояла спиной, готовила кофе и десерт и никакого внимания к его персоне не проявляла. Он выхватил из ряда первую попавшуюся книжку в мягкой обложке, пролистал, на одной странице задержался.

- Здорово! — сказал вслух.
- Что ты там вычитал? — не оборачиваясь, промолвила Диана.
- А вот слушай:

Могу я взять твою руку недрогнувшею рукою,
Могу, на тебя не глядя, рядом с тобою быть,
Тебе, как простой знакомой, могу кивнуть головою,
Но не могу забыть.

Могу на твой взгляд ответить улыбкою безмятежной,
О книгах или нарядах с тобою поговорить,
Имя твое могу я произнести небрежно,
Но не могу забыть.

Пусть зарастет тропинка, что ведет к твоему порогу,
Могу о тебе не думать, могу тебя разлюбить,
Могу с другим тебя встретить и уступить дорогу,
Но не могу забыть.

Ты не узнаешь тайны, которую я скрываю,
Надежнее океаном сокровище не укрыть.
Маленькая колдунья!
Я тебя знать не знаю,
Но не могу забыть.

- Мило, — комментировала Диана. — Кто это настрочил?
 - Какой-то Хосе Анхель Буэса. Не знаю такого, — как будто он вообще кого-нибудь знал, кроме Пушкина и Лермонтова.
 - А ты, оказывается, сентиментальный. Такой крепкий, мускулы, как арбузы, а стишками интересуешься.
 - Вот такие мы, артисты: сочетаем грубость и нежность, равнодушие и эмоциональность, — он остался доволен своим выступлением, но Диана громко прыснула:
 - Wow! Сколько пафоса! В России почему-то все говорят лозунгами и призывами.
 - Не все и не всегда. Часто человек добавляет в речь пафоса, чтобы скрыть смущение.
 - Что тебя смущает?
 - Ты.
 - Да ладно. Иди к столу, артист.
- Генрих распрощался с ней, не дождавшись возвращения хозяев. Вдруг понял, что не может больше оставаться наедине с этой девочкой.

В городе дела набросились, как хищные звери, и требовали срочной дрессуры и умирения. Оскар, пожилой молодой отец, все чаще и дольше пренебрегал служебными обязанностями, расходуя свои педагогические способности и тренерский талант на воспитание малолетнего сына Алеши, которое состояло из трех основных направлений: любование, восхищение, умиление. Появляясь на манеже, папаша приносил с собой щедрые плоды такого воспитания — рассказы о том, что Алеша ест, как спит, улыбается и какает. Тренерская работа оказалась, таким образом, переложенной на Генриха, вопрос о помощи со стороны «отца» теперь не стоял; вопрос был в том, чтобы «отец» не мешал, и Генриху иной раз приходилось нейтрализовать заигравшегося тренера весьма грубо и неуважительно. Он, конечно, не собирался работать за двоих, тянуть тренерскую лямку за те же деньги и ждал подходящего момента, чтобы заставить многодетного «отца» либо выполнять родительский долг по отношению к «братьям», либо платить алименты «опекуну», то есть Генриху, потому что денег никогда не бывает слишком много...

В октябре выпал снег. Крупные влажные хлопья сгребли в охапку людей, машины, деревья с еще зелеными кое-где листьями, и человечество превратилось в гигантский снежок, готовый сам себя смести с лица земли. Впрочем, все закончилось хорошо. Жизнь вернулась на круги своя, в холодном побеленном мире остались прежние, большие и малые, удовольствия и проблемы, а деревья еще на некоторое время сохранили волшебные осенние краски: зеленую — на ветках, красную, желтую, оранжевую — у подножий. То, что казалось несвоевременным, на самом деле происходило просто и естественно, потому что белый цвет, как известно, складывается из всех спектральных оттенков. Так что какая разница? Сегодня белый, завтра цветной, потом черный... Все путем...

Из недели в неделю Генрих собирался навестить Романа с Аллочкой, да никак не получалось хотя бы на пару-тройку дней оторваться от манежа. Генриха раздражала абсолютная невозможность жить так, как хочется, но эта невозможность позволяла ему удерживать уважение к себе, потому что не будь ее, пришлось бы признаться себе в собственном страхе. Он не боялся идти по канату без страховки. Но вдруг ему ста-

ло страшно: он боялся этой скромной девочки, которая умеет так естественно, так непринужденно лежать клубочком на диване, невинно демонстрируя все свои прелести. Этой *ясновидящей*, которая, готовя кофе, не оборачиваясь, видит, что делает мужчина у нее за спиной, которая говорит обычными словами, презирует пафос, а стихи о любви называет «милыми». Он боялся этой простой девочки, очень простой, такой простой, как мелкаячеистая сеть, сотканная из множества волокон, напоминающая лоскут легкой ткани, но закрывающая воздух и свет тому, на кого случайно упадет.

Генрих не умел предсказывать будущее, но он умел *видеть* прошлое, то самое, незначительное прошлое, когда она готовила кофе, а он читал стихи. Тогда все и прояснилось. *Прояснилось* тогда, а *увидел* он сейчас. Он увидел, что *ничего*, произошедшее с ним и с ней, называется тем беспокойным чувством, которого он ждет и боится. Не потому боится, что девочка — родственница его друга, что за чушь! Он боится потому, что... Он не знает, почему боится. Он ничего не знает. Он *не умеет предсказывать будущее*. Паника неизвестности...

Как-то так получилось, что он снова попал в загородный дом своих друзей в день первого октябрьского снегопада. Так сказать, прилетел на крыльях осенней метели. Все сошлось в тот день. И Оскар, постоянно опьяненный хмелем отцовской любви, неожиданно «вышел из запоя», вспомнил о старших «детях», появился на манеже и дал Генриху трехдневный отпуск. И природа, испуганная и восхищенная белой выходкой Небес, не обошла тревожное сердце Генриха, позвала артиста к себе и сопровождала весь неблизкий путь от станции к дому, наполняя душу прозрачными, а потому трудноловимыми чувствами. Он был рад, что оставил в городе машину. И опять Диана оказалась в доме одна, открыла ему дверь не босая, а в толстых шерстяных носках, что выглядело по-домашнему уютно и опять же просто, совсем просто, как и мягкие бриджи с кисточками под коленками, и блуза в мелкий цветочек, свободно спадающая с одного плеча. Все сошлось. Он позвонил, она открыла дверь, не удивилась его приходу и приветствовала, как в прошлый раз, — отрицанием.

— А наших нет. В город уехали.

— Что-то они зачастили.

— Роман взял Мишу в свою фирму, вводит в курс дела. А Алла просто так поехала — проветриться.

— И какое же у него будет дело?

— Не знаю. Пока менеджером. В Америке менеджер — серьезная должность, солидная, а здесь — не поймешь что. Но они же оба будут совладельцами фирмы, так что должность — неважно.

— А ты где будешь работать?

— Зачем? Женщина должна быть женщиной, а это требует усилий.

— В общем, будешь развлекаться. А что же сегодня не поехала?

— Не захотела. Погода плохая.

— Погода плохая?! — вскричал одухотворенный гость, сбрасывая снег с шапки на наборный паркет прихожей. — Одевайся, пойдём. Я покажу тебе, что такое хорошо, а что такое плохо.

— Ну, пошли, — сказала она и начала одеваться, раздеваясь, прямо в прихожей, словно забыв, что он стоит здесь же, в полном ступоре и абсолютно лишенный мыслей.

Она на ходу сбросила с себя бриджи и блузу, через дверь паснула их на диван в гостиной, побежала в носках, трусиках и майке, едва прикрывающей голую грудь, к ящику с какой-то рабочей одеждой, выхватила из груды тряпья оранжевые байковые штаны, растянутый безразмерный свитер, красный пуховик с черными земляными разводами, — натянула всю эту амуницию на себя и отрапортовала:

— Готова!

— О-о-обувь, — заикаясь, пытаюсь прийти в себя, сказал Генрих. — Босая пойдешь?

— Ой, да, — она вытащила из-под полки «дутые» сапоги на толстой подошве. — Вот, нашла. Годятся?

— Годятся, — буркнул Генрих, открывая наружную дверь.

Ему необходимо было срочно выйти на воздух. Ее беготня в неглиже перед его глазами, стремительность движений, равнодушие к одежде — ребячье поведение взрослой замужней женщины — окончательно лишили его возможности сопротивляться, изгнали страх перед надвигающимся непонятым чувством, одарили сиюминутным восторгом, белым, пушистым и летящим, как ранний снег, пришедший неожиданно и ушедший в никуда, оставив за собой светлое ощущение перемен...

Когда она, по-прежнему не стесняясь, снимала промокшую одежду и переодевалась в домашнюю, Генрих все-таки не удержался, упрекнул, скрывая удовольствие:

— Ты бы хоть за пальму зашла в «зимнем саду», когда переодеваешься. Или тебя некому было учить?

— Не нравится — не смотри, — отмахнулась она.

— В том-то и дело, что нравится. А я, между прочим, живой человек, не железный.

— Вот и хорошо. Давай кофе пить.

В общем, семья вернулась из города как раз вовремя — так Генрих подумал в тот момент, когда заскрипела входная дверь. Моментальная мысль, которая тут же сменилась другой: черт их принес!

Аллочка кинулась на кухню разогревать обед, Диана вздохнула рассказывала, как, оказывается, красиво, когда деревья закиданы снегом, и как, оказывается, весело гулять на морозе, а потом пить дома кофе в хорошей компании. Генрих улыбался как взрослый, снисходительный к болтовне ребенка мужчина, но от обеда отказался, мол, торопится по делам. Никаких дел у него на сегодня не предвиделось. Его разрывало изнутри. Черт их принес!

Он собирался уехать в тот же день — не смог, остался и назавтра снова потащился в гости, выслушивать очередную главу семейной саги: приучение блудного сына к труду. Все были в сборе, кучковались у круглого столика, занимаясь каждый своим делом: Аллочка потягивала кофе, Рома светски попивал сухое вино из высокого бокала, Михаил сидел, развалившись, на диванчике, держа в одной руке сигарету, а другой обнимая взобравшуюся ему на колени Диану. В тот момент, когда вошел Генрих, «маленькая колдунья» уткнулась в скулу мужа и принялась часто-часто целовать его в ухо. Михаил крутил головой, тербил ухо и смеялся — щекотно! В общем, полная семейная идиллия, от которой Генриха едва не стошнило.

— Заходи, заходи, Гена, — радушно пригласил хозяин. — Иди сюда, садись. Мы тут решаем важный вопрос. Может, дашь нам, дуракам, ценный совет.

— Конечно, — сказала Диана. — В цирке все — самые умные, потому что много стоят на голове. У акробатов очень сильный мозг, мускулистый.

— Диночка у нас иногда не совсем удачно шутит, — бросила Аллочка.

Генрих серьезно взглянул на девчонку и улыбнулся взрослой снисходительной улыбкой: чем бы дитя ни тешилось...

— Так что за вопрос? Очередная проблема?

— Проблемой не назовешь, — успокоил Роман, — просто задача, требующая решения. Наши молодые собираются жить в городе, Мише удобнее будет добираться до работы. Вот решаем вопрос с квартирой: снимать ли или сразу купить. Я думаю, лучше пока снять, пусть парень присмотрится, пооботрется, привыкнет к работе. А там видно будет.

— А по-моему, незачем зря деньги тратить, — как всегда миролюбиво, возразила Аллочка. — Купим квартиру, и пусть живут. Зачем эти разброды и шатания?

— А Михаил-то что думает, — спросил Генрих, демонстративно обращаясь не к сыну, а к родителям, — и его жена...

Жена спрыгнула с коленей любимого, устремилась к огромному окну, прижала лицо к стеклу.

— Зима! — провозгласила она. — Красота! Везде снег. Пойдемте гулять.

— Снег растаял, — назидательно поправил ее Генрих. — То, что на ветках, — это иней, а внизу, на земле, сейчас слякоть и грязь. Не очень приятная пора для прогулок.

— В цирке, оказывается, трудятся не только умные, но и разумные, — в пространство, ни к кому не обращаясь, изрекла Диана, демонстрируя глубокое знание русского языка.

— Если тебе так хочется именно сейчас гулять по грязи, готов сопровождать, — сказал Генрих. — Хотя, по-моему, при решении важного семейного вопроса желательнее присутствовать.

— Незачем мне присутствовать. Решат без меня, тоже мне — проблема! Я гулять хочу, могу и одна пойти.

— Да чего там? — наконец подал голос Михаил. — Снимем квартиру, куда торопиться? Динка, не хочу я гулять. Холодно, грязно. Иди с Генрихом, если он согласен. И что ты все придумываешь? Так хорошо сидели, тепло, сухо, скоро обед.

— Правильно, — скривилась Диана, — обед, потом здоровый сон. А тут и жизнь прошла.

— Да ладно тебе, — отмахнулся Михаил.

Диана встала и пошла одеваться.

— Гена, не в службу, а в дружбу — выгулай ты ее, — попросил Роман. — Честное слово, как капризный ребенок. Плохо ты, Миша, жену воспитываешь.

— Ее воспитаешь, — усмехнулся муж. — Дикий жеребенок. Вот и мучаюсь, — и довольно улыбнулся.

«Да, — подумал Генрих, чувствуя, что копирует улыбку счастливого мужа, — похоже, этот жеребенок все семейство взнуздal...»

Они вышли на улицу и медленно заскользили по вязкой каше тротуара. Генрих молча вышагивал рядом, засунув руки в карманы.

— Скользко, — сказала Диана, — нашелся бы подходящий кавалер, взял бы под руку. Генрих, согнув руку в кольцо, протянул его капризнице.

— Держись. А я предупреждал.

— Только не предупредил, что ты неотесанный хам.

— Думал, это и так видно.

Она резко остановилась, повернулась к нему лицом.

— Что ты злишься?

Он ничего не ответил, продолжал вышагивать, держа руку кренделем. Диана поскользнулась, едва не упала и схватила его за рукав:

— Ой, мамочка!

— Зачем так визжать? Ну, упала бы, так тебе и надо — слушайся взрослых, девочка.

— Пойдем вон туда, в лес.

— Там еще хуже. Опять предупреждаю.

Она почти побежала, скользя по слякоти, как на лыжах, и увлекая его за собой. Едва они укрылись среди черных, поблескивающих остатками инея деревьев, ее руки взметнулись, обхватили его за шею, пригнули вниз его голову, и губы яростно впились в его губы, терзая их, не выпуская, мешая дыханию. Он на несколько секунд умер, по-

том воскрес, потом опять умер и, наконец, окончательно очнулся от боли в прикушенной ею губе.

— Могла бы поаккуратнее. Как я теперь предстану перед твоим святым семейством? Что скажу? Собачонка укусила?

— Перебьешься, скажешь с порога «до свидания» и домой пойдешь.

— Все решила за меня? А если я не хочу домой?

Он сжимал ее в объятиях, забыв о хрупкости женского тела и мощи силы гимнаста, и опять умирал, умирал...

— Пусти, — сказала она наконец. — Синяков наставишь.

— Значит, ты тоже скажешь с порога «до свидания» и уйдешь со мной.

Диана отстранилась, расширив глаза и подняв брови «домиком».

— Ты хочешь, чтобы я ушла от Миши?

— Я еще не думал об этом. А ты бы ушла?

Она отряхнула куртку, поправила шарф и шапочку на голове.

— Ой, смотри какая елка! И розовые шишки...

Розовые шишки... Перед его глазами проشمыгнуло детство Генки-Гвоздя, обронив мимоходом тот день, когда хилый пацан догадался о своем даре *видения* — дома, под аккомпанемент материнского крика, — а до того были лес, взбудораженный неожиданным снегопадом, и высокая ель с розовыми шишками на макушке. Он рвал их, как сокровища, а они на земле оказались бурными, некрасивыми, потому что внизу не сияло солнце, отражаемое ими. Тогда солнца внизу не было, но теперь все иначе, теперь другие времена.

Генрих быстро карабкался по мокрому стволу, перехватывая руками ветки, вертел головой, отмахиваясь от холодных капель, и почти у самой макушки крикнул:

— Дина, сними шапку, подставь, будешь собирать урожай.

Шишки летели стремительно, огибая в полете ветки и точно попадая в «корзину».

— Хватит! — прокричала Диана. — Тяжело держать.

Он так же ловко слетел вниз, бросил взгляд в сторону сокровища в руках сказочной принцессы. Розовые! Теперь другие времена. Теперь не все зависит от капризов солнца.

Диана удивленно осматривала циркача, вертела его из стороны в сторону.

— Одного не пойму, — раздумчиво сказала она, — как ты смог так высоко забраться...

— Это ерунда, — начал он, — просто ловкость...

— Нет, я о другом. Как ты умудрился так высоко забраться и не испачкаться, не извозиться? Ствол шершавый, кора крошится, капли падают, иголки колются, — а ты как новенький.

— Правильно, девочка. Если ты умеешь летать, никакая грязь к тебе не пристанет. Смотри, какую красоту я для тебя добыл.

— Подумаешь, шишки. Играть в них, что ли? Я в куклы давно не играю.

На миг Генриху стало обидно. Не за себя, а за свои подарки. Но она ведь не знала, что он своей яркой жизнью научил изменчивую природу удерживать красоту, не ставить красоту в зависимость от случайностей, рождать волшебство и сохранять его. Канатоходец — это человек, вознесенный над миром зыбкой, позванивающей нитью *вдохновения*.

Она этого не знала.

Глава 5

С того дня каждый день Генриха делился на две части. С утра он работал, и ничего другого, кроме этой обязательной, изнурительной и любимой работы, не существовало. Оскар успокоился, упрятал любовь к маленькому сыну в укромный уголок души, словно повесил в шкаф новую, но ставшую привычной одежду, и теперь снова руково-

дил. Генрих был свободен от обязанностей тренера, и ничто не отвлекало его от вдохновения. Это *ничто*, однако, покидало его в тот миг, когда репетиции заканчивались, и уже по дороге домой он, как по проволоке, перемещался в другую жизнь, воображаемую, которая пока не дарила вдохновения, не окрыляла, но мучительно созревала не то в сердце, не то в голове или где-то еще. Принцесса Диана, леди Ди, не взойдя на престол, властвовала над ним пока не полностью, но подчинив себе вторую половину каждого отпущенного ему дня. Он хотел этой власти и сопротивлялся ей. Он хотел быть свободным и жаждал порабощения.

Несколько недель он держался, не ездил *во дворец*, сидел вечерами дома или отправлялся в гости к Оскару, играл с маленьким Алешей и понимал, что еще год или два — ребенок окажется на манеже, сколько бы ни клялся его одержимый папаша, что убеждает этого мальчика от прекрасной, но опасной профессии. Иногда Генрих навещал мать, и получались довольно приятные вечера, согреты материнской гордостью за успешного сына и гордостью сына, обеспечившего матери на старости лет комфорт и материальное благополучие. Едва ли эти амбициозные чувства можно было назвать взаимной любовью, но, как известно, при дефиците и дороговизне лекарств всегда находятся подходящие аналоги, позволяющие человеку и человечеству выживать. Слава богу, заменители любви еще существуют на белом свете.

Но тому, что мучило Генриха, аналогов не находилось. Капризная принцесса с непонятными мыслями, чувствами и поступками постоянно мелькала перед глазами, дразнила и манила пальчиком. Он уже готов был сорваться, помчаться на ее зов, когда она позвонила:

— Нашла твой номер у Ромы в телефоне. Слушай, мне скучно. Сижу здесь, как крыса в норе. Пригласи на представление. Надо тебя посмотреть — ты же *великий артист*.

— У нас сейчас нет представлений. Готовим новую программу к весне, — сдерживая ликование, спокойно ответил артист. — Ты можешь прийти на репетицию, это даже интереснее, — вдруг сообразил он.

— Когда?

— Хоть завтра, часа в два. Потом сходим куда-нибудь пообедать.

— Здрóрово!

Сначала ее присутствие в цирке Генриху мешало. Потом удалось отключиться настолько, что когда Оскар, хлопнув в ладоши, объявил конец репетиции, он в первую минуту не вспомнил о своей гостье. Напомнил Оскар:

— Кто это там к тебе пришел? Девушка твоя?

— Родственница, — неохотно ответил Генрих.

Нет, она еще не была его девушкой, его женщиной, его Музой. Он не умел предсказывать будущее, однако будущее стремительно приближалось к нему, как к простому смертному, который в определенные моменты жизни перестает быть простым и смертным...

Они поехали тройную уху в маленьком кафе с двусмысленным именем «Демьянова уха» — по-видимому, автор названия не читал басню Крылова и не знал истинного смысла этого словосочетания — и молчали. Генрих, сохраняя на лице полный штиль, боролся с бурей в душе, причину которой не мог и не хотел для себя определить. Молчание Дианы было намеренно таинственным и сопровождалось короткими острыми взглядами, мимолетными улыбками и периодическими движениями руки, заправляющей за уши спадающие на лицо волосы. Наконец она сказала:

— Я за тебя боялась.

— Чего тебе бояться?

— Ты мог упасть, разбиться.

- Не мог.
 - Конечно, ты сильный. За такую работу, наверно, хорошо платят?
 - Не в деньгах счастье, — усмехнулся Генрих.
 - Счастье, конечно, не в них, но ты мог бы привести даму в более престижное место.
 - Чем плохое это место? Вкусно кормят, я часто здесь обедаю.
 - Вот именно: часто. А сегодня особый случай. Или для тебя обед с такой прекрасной девушкой случается часто?
 - Ну, что ты из себя строишь? — засмеялся Генрих. — Ты ведь не такая.
 - Откуда ты знаешь, какая я?
 - Не знаю, — ответил он и смутился. — Ты хорошая.
 - Правильно, артист. Я хорошая, но не очень и ничуть об этом не жалею. Ну, а на счет этой забегаловки... Понимаешь, она похожа на кафе в Америке, где я работала. Неприятные воспоминания.
 - Ты работала в кафе?
 - Да, официанткой. Хозяин ко мне приставал, собиралась уходить, а куда денешься? В шикарный ресторан не возьмут, в таких, как этот, везде одинаково. Миша мне помог.
 - Наш атлет врезал хозяину по шее?
 - Нет. Миша, он, как ты, — экономный. Приходил к нам перекусить. Влюбился в меня, замуж позвал. Конечно, я сразу видела: шикарную жизнь он мне не обеспечит. Зато добрый, наш, русский.
 - А ты хочешь иметь шикарную жизнь?
 - Вообще-то, хочу, что в этом плохого? Но если честно, когда жизнь интересная, можно и скромность включить.
 - Значит, с Михаилом тебе интересно?
 - Ты шутник, артист, как я погляжу. А вот такая жизнь, как у тебя... В любую минуту может все красиво закончиться.
 - Не дожدهшься. Поехали ко мне.
 - Поехали...
- Он не произнес лицемерных фраз, вроде *выьем кофе* или *посмотришь, как я живу*. Он сказал то, что хотел, и она поняла так, как он хотел. Никакой случайности, неожиданности, внезапного порыва быть не могло. Они поехали к нему, чтобы принадлежать друг другу...
- Нет, это не называлось сексом. Скорее, это называлось *счастьем* или как-то еще, но он не знал как и почему. Он растворялся, исчезал, улетал, его вообще не было, и он был, и казалось, никогда не кончатся этот полет, скольжение по проволоке над пропастью.
- Когда мы увидимся? — спросил он на прощание.
 - Я не смогу часто приезжать в город одна.
 - Я покупаю домик у вас в поселке. Только времени мало, бесконечные репетиции.
 - Захочешь встретиться — найдешь время, — улыбнулась она.
 - А ты хочешь?
 - Дурак...

Первое время, пытаясь себя успокоить и внутренне усмехаясь, Генрих думал: к тридцати пяти годам вляпался в лужу на ровном месте, извозился, забрызгался и радуюсь, как ребенок. Но успокоиться не получалось. Лужа становилась глубже, светлее, превращалась в безграничное море, в котором неопытный человек мог барахтаться сколько угодно и благополучно уйти на дно. Он не хотел на дно, он хотел видеть свет, купаться в этом свете и чистой прозрачной воде, а потом пристать к солнечному берегу и жить долго и счастливо. Кого он выбрал для счастья? Он не выбирал, все в его жизни явля-

лось само собой, в нужное время и так, как требовалось. Кто-то думал за него, указывал верное направление, а он подчинялся, брал в руки то, что дано, и шел с балансиrom в руках по самому надежному пути на земле — по натянутой проволоке.

Он даже радовался отсутствию встреч с Дианой, ему нравилось нести в себе воспоминания и предвкушения, внутренняя дрожь не мешала работать, а, наоборот, придавала ловкости и устойчивости на канате. Однако *некровный* отец видел и чувствовал его, как родного, с тревогой всматривался в его лицо и интуитивно понимал опасность.

— Ты устал, Генрих, — сказал он. — Отдохни парочку дней. Дом за городом купил?

— Да, все в порядке.

— Ну так поезжай. Чрезмерный тренинг может выйти боком. Перегоришь.

Генрих растерялся. Он и думать забыл, что его Муза, женщина из плоти и крови, является чьей-то женой, ближайшей родственницей его друга и что трудно будет ему прийти в гостеприимный дом, где его всегда ждут, давно любят и не ожидают никаких каверз. Впрочем, трудно — значит интересно. Когда есть тайна, это всегда интересно, еще больше возбуждает и подстегивает.

Перед тем как позвонить в дверь, он долго отряхивал с себя снег, топтался на крыльце, пытаясь придать лицу иронично-равнодушное выражение, откашливался, настраивая голос на спокойную волну, без взволнованных хрипов и сипов. Конечно, дверь открыла Диана, он должен был увидеть ее первой, чтобы публично не впасть в шоковое состояние. Он должен был включиться в игру.

— Привет, красавица. How do you do?

— Генрих... — на секунду растерялась она. — Не ждали. Заходи.

Роман уже орал из комнаты:

— Иди, иди скорее, все дома, выпьем, закусим.

«Выпьем, закусим — всегда одно и то же, — раздраженно подумал Генрих. — Что она здесь делает, в этом болоте?»

Все были на своих местах. Роман за столиком с бокалом, Аллочка с сигаретой в кресле, Михаил развалился на диване. Диана, прошмыгнув мимо Генриха, взобралась с ногами на диван, прильнула к плечу мужа. Генриху стало весело.

— Оскар послал меня подальше, — засмеялся он, — в смысле, велел ехать за город, расслабляться и отдыхать.

— Твой Оскар — хороший человек, заботится о своих артистах, — заметил Роман.

— Ага. Аллочка, я соскучился по твоим деликатесам. Выпьем, закусим, я вот торт привез. А завтра у нас с вами экскурсия...

— По необъятным просторам родины, — бросила сквозь зубы Диана и нежно погладила мужа по колену.

— Да, если считать поселок миниатюрной копией нашей Родины.

— Так оно и есть, — подтвердила Аллочка. — Что будем осматривать?

— Дом, который я здесь купил.

— Во, молодец! — обрадовался Роман. — Все чин чинном, оформил?

— Собственник, — побил себя Генрих по груди.

— Слава богу, — изрекла Диана. — Будешь теперь сдавать дачникам, сколько же можно нищенствовать?! Хоть какие-то копейки, на бедность.

Все засмеялись, Генрих громче всех. Как легко притворяться, как это забавно и волнующе, какая талантливая артистка его Диана, и сам он не лыком шит! Зима, снег едва слышно шлепает по стеклам, камин в гостиной шуршит затухающим пламенем. Рядом близкие люди, которые подчиняются неписаным законам жизни, а потому ни в чем не виноваты друг перед другом. *Весь мир — театр, и все мы в нем актеры.*

Назавтра была чудесная прогулка по заснеженному поселку, теплый дух оттаявших на зимнем солнце сосен, запахи дымов, кувыркающихся над крышами, легкий мороз,

щекочущий щеки, — и серебряные деревья, все как один молодые и беспечные. Аллочка шла впереди, в куртке и спортивном костюме, легкая и грациозная, периодически оборачивалась к компании и улыбалась. «Какое у нее молодой лицо! — думал Генрих. — И ведь не боится улыбаться, как другие старые женщины, берегущие кожу от морщин. У нее никогда не будет морщин, потому что она редко хмурится». Он смотрел на Аллочку, но видел только Диану, отмечал каждое мимолетное ее движение, ждал тайных сигналов, ловил их скрытый смысл и мысленно откликался.

Идти пришлось далеко, на другой конец поселка, и Генрих лишний раз возблагодарил судьбу, подбросившую ему новое жилище в этом благодатном месте, но не рядом с «дворцом», исключая тем самым возможность неожиданных визитов и разоблачений. Он представлял себе тайные будущие встречи с чужой женой и думал о настоящем.

— Маловат домишко, — сказал Рома. — Тут не разгуляешься.

— А что ему разгуливаться? — возразила жена. — Он отдыхать будет сюда приезжать. А гулять — пожалуйте к нам.

— Танцы вприсядку, русские народные песни и праздничные фейерверки, — уточнила Диана.

«Скучно ей здесь, — подумал Генрих. — Заберу ее, увезу, и пусть вытворяет, что хочет. Она — чудо, какой бы ни была».

Они осматривали маленький невзрачный садик и дом, и Рома, прикидывая, как уютнее свить здесь гнездышко, обращался к Аллочке со смешными вопросами о занавесках, ковриках и вазочках, демонстрируя глубокую озабоченность всеми мелочами жизни старого друга.

— Уймись, Рома, — остановила его жена. — Это дело женское, не для твоего великого ума. Мы с Диной наведем здесь порядок со временем, если Гена позволит.

— Протянем проволоку под крышей, чтобы он по утрам делал физзарядку, — предложила Диана. — Тут и падать невысоко, меньше двух метров от потолка. Такой маленький сарайчик.

На это бестактное замечание экскурсанты ответили молчанием, а Генрих тихонько пожал пальчики ядовитой «маленькой колдуньи». Она дернула плечом, щелкнула его по уху и успела шепнуть: «Завтра утром жди».

Он ждал всю ночь. Ложился, вставал, ходил по комнате, переставлял скучную мебель, зажигал и гасил старую настольную лампу с пожелтевшим абажуром, выходил на улицу, вдыхал морозный воздух, выравнивающий дыхание, и следил за медленным заторможенным пробуждением зимнего дня, еще одного счастливого дня в компании будущих серебряных дней.

Диана пришла запыхавшаяся, окутанная дымком заиндеветших волос, и Генрих вспомнил строчку какого-то русского поэта с нерусской фамилией, случайно затерявшуюся в его не отягощенной классикой памяти: «Она пришла с мороза, раскраснелась...» «Да, — успел подумать он, пока красавица шла от калитки к двери. — Как бы не размякнуть вконец от этой лирики». Мысль мелькнула и пропала, потому что он и в самом деле размяк и вовсе не хотел бороться с этой размягченностью.

— Как ты вырвалась? — срывающимся голосом спросил он.

— Гулять пошла, — спокойно ответила она. — Я часто гуляю одна.

— Ты будешь торопиться. Не хочется спешить.

— Не буду я торопиться. Они опять в город поехали, Михаил вникает в бизнес. У него этот процесс медленный. А Аллочка надзирает за сыночком, контролирует исподтишка. Хитрющая баба.

- Аллочка? Какая в ней хитрость? Она искренняя, естественная.
- Ты, Гена, совсем не разбираешься в людях, особенно в женщинах.
- Ладно, иди ко мне, моя умная женщина. Я жду тебя слишком долго.
- Не так уж долго.
- Всю жизнь, — сказал он, прижимая ее к себе...

Она умела быть развязной девчонкой, нежной девушкой и пылкой женщиной. Она ничего не боялась. Иногда казалось, что из всего внешнего, ее окружающего, она сохраняет только интересное в данный момент для себя, все же остальное, как в смартфоне, изгоняет с экрана легким прикосновением пальца. Но тому, что осталось, она отдавалась полностью, всматривалась, вчитывалась, наслаждалась, удивлялась и безжалостно отвергала, если что-то нарушалось в ее представлении о жизни. Впрочем, представления о жизни были у нее сиюминутными: она, как кузнечик, прыгала с одной полянки на другую, высоко не поднимаясь, но осознавая чуткость и резвость прыжков, способных уберечь от неожиданных неприятностей. Попробуй-ка прихлопнуть ладонью кузнечика! Не получится. Если говорить грубо, по-житейски: ей было на все наплевать. Если пользоваться философскими категориями: она жила свободно. Свободный человек, затесавшийся в цивилизованное общество, может быть независимым лишь в определенных пределах, — Диана не знала пределов, и, наверно, прежде всего за этот всеохватывающий эгоизм ее любил канатоходец Генрих Серебряный. Что из того, что кузнечик не так уж красив, его песня не слишком мелодична, а движения не вполне грациозны? Генрих, может быть, и не хотел догнать это ловкое существо, но ему нравилось *догонять* и надеяться. И еще, в глубине души, он верил в свою *власть*. Он обнимал Диану, держал ее в своих руках, и это были минуты обладания, которые вполне могли разрастись до часов, дней, месяцев и в конце концов остаться навсегда — дрессированный кузнечик, шедевр циркового искусства...

— Завтра мне надо уехать, Оскар отпустил только на три дня. Что у вас с квартирой в городе? Что-то никаких подвижек.

- Это штучки Михаила. Ему здесь удобно, рядом с мамой и папой. Вот и тянет.
- А ты чего хочешь?
- Мне везде одинаково. В городе тоже скука несусветная.
- Там я буду ближе.
- И что это изменит?
- Может изменить многое, было бы желание.
- Желание у меня часто бывает. Слава богу, муж под боком, — засмеялась она.
- Меня не интересуют подробности твоей семейной жизни.
- Не нравится — не слушай.

Он, улыбаясь, погладил ее по голове.

— Говори что хочешь, делай что хочешь, девочка. Мне все в тебе нравится.

Диана целовала его лицо, руки, грудь и шептала, словно причитала:

— Геночка, любимый мой, ты лучший на свете.

Она говорила правду, она была абсолютно искренна. В данный момент...

Бесконечные репетиции, полирование до блеска каждого шага и движения могли бы кого угодно довести до иступления, но для Генриха все, чем приходилось заниматься, было жизнью, естественной, как дыхание. Он не чувствовал усталости, не изнывал от мышечной боли, не пугался монотонности повторений. Во время работы он не думал о Диане, словно занавешивая плотной шторой окно в другую часть своей жизни, и не позволял себе, да и не чувствовал потребности, подглядывать в щелку. Такое состояние двойственности не называлось, однако, раздвоением. Оно было единым целым, *сущностью*, поддерживаемой магической силой *вдохновения*.

Потом что-то случилось. Началось с неожиданного: Генрих вдруг сорвал переднее сальто, которое давным-давно научился выполнять походя, без особого напряжения. Оскар удивился, а сам Генрих не придавал значения конфузу и, как положено, повторил трюк. Опять срыв.

— Передохни, Генрих, — раздумчиво сказал «отец». — Соберись. Где твои мысли сейчас?

— Мои мысли на месте, — натянуто улыбнулся Генрих. — Вернее, в голове пусто, работаю на автомате.

— Пустая голова — слишком легкая ноша, она летит вверх, как воздушный шар. А ей сейчас надо вниз клониться. Сосредоточься.

Он попытался сосредоточиться, и вдруг возникла головная боль, отрывистая, резкая, словно короткое покрякивание приближающегося поезда. Он давно забыл об этой боли и удивился, даже сразу не понял, что с ним не так, а когда понял — испугался. Головная боль — предвестник. Чего? Что-то случилось? Генрих сидел на бордюре, отдышал и изо всех сил *всматривался* в себя, словно крутил ручку кинопроектора: ждал появления перед глазами таинственных говорящих картин. Никаких картин не случилось, но тревога не проходила, он почему-то думал о Диане и знал, что не успокоится, пока не проверит. Они давно не виделись, Генрих редко звонил, еще реже писал письма по электронной почве, потому что терпеть не мог эту связь через космос. Он должен был общаться вживую. Диана звонила обычно сама, на встречах не настаивала, но упрекала за молчание.

Сейчас он хотел было набрать номер ее мобильного телефона, но понял, что вряд ли обойдется короткой информацией по телефону.

— Оскар, мне бы отлучиться, — попросил он.

— Что случилось, Генрих? Что с тобой?

— Голова болит. Артист нуждается в кратковременном перерыве, — вроде как пошутил артист.

— Ты болен?

— Нет, батюшка, не волнуйся. Просто я вчера поздно лег.

— Гулял? Пил? — сдвинул брови Оскар. — Ты смотри у меня.

— Не пил. Книжку читал, — хмыкнул Генрих, — любовный роман.

— Да-а, похоже, я тебя лишил всех земных радостей. Немудрено, что голова болит. Девушка тебе требуется. Или уже нашлась?

— Так я уйду сейчас?

— Иди, темнила, сегодня ты явно не в форме.

Он помчался на машине в поселок, проклиная снежную кашу на дорогах, «пробки», полицейских, высаженных, как молодые дубки, вдоль трассы через каждую стометровку. Он бранил последними словами верного друга Рому, построившего свой дворец в глухомани, и себя, дурака, притулившего собственный сарай к этому дворцу, как будку уборной к деревенской избе.

Как всегда, открыла дверь Диана.

— Ты одна? — спросил Генрих, не здороваясь.

— Роман дома. Откушал и дрыхнет. Приучает сыночка к самостоятельной работе под надзором бдительной мамы... Входи, Геночка, не ждала тебя и очень рада, — она пылко обняла его за шею, прижала к себе.

— Подожди. У вас все в порядке, ничего не случилось?

— Господи, что у нас может случиться? Тишь да гладь, только я соскучилась, мой любимый акробатик.

От ее объятий он сразу размяк, забыл свои страхи, видел и чувствовал только ее. Раздеваясь на ходу, они устремились в комнату, кинули друг друга на диван, и никого

не осталось в мире, и не было ничего, что могло бы им помешать. Они не услышали шагов по лестнице, ведущей вниз из спальни хозяев, не увидели стоящего в проеме двери потрясенного Романа и не сразу поняли, что случилось нечто непоправимое.

— Гена? Ты?! — выдал из себя Роман, и тогда они вскочили с дивана, схватили плед и едва не разодрались, перетягивая его каждый на себя. Получилось даже комично, Диана фыркнула, уступила угол пледа партнеру, одним движением усадила его и себя обратно на диван и устала, улыбаясь, в лицо свекра:

— Рома, удались, ты пришел не вовремя.

— Но... Как же?.. — лепетал Роман.

— Уйди, Роман, — прохрипел Генрих. — Потом...

— Да, потом, — прошептал лучший друг и заковылял по лестнице вверх.

«Какой он старый!» — удивился Генрих и больше ни о чем размышлять не мог, сидел молча, подобрал колени и придерживая сползающий плед.

— Что с тобой, Геночка? Ты, кажется, испугался? Вот уж не ожидала от такого отчаянного парня.

Он молчал, не в силах шевельнуться, встать, одеться, исчезнуть. Наконец сказал:

— Попались.

— Ничего страшного. Не бойся, папа любит сыночка, ничего ему не расскажет. И вообще... Сам-то он тоже не святой, дело житейское.

— Он нас возненавидит, — произнес Генрих, хотя думал в данный момент не о ненависти Романа, а о своей совести, которая прежде так редко его беспокоила, а теперь набросилась и раздирала на части.

— Любит, ненавидит... — протянула Диана. — Мне лично все равно. Глупости это. Семья есть семья, все перемелется.

— Пошел я, Дина, — сказал Генрих, вставая. — Надо как-то выпутываться.

— Не переживай, это я возьму на себя.

Генрих взглянул на нее недоверчиво.

— Не думай, соблазнять *папу* я не намерена, — засмеялась она. — Есть другие способы дрессировки.

Он сидел в машине, облокотившись на руль, никак не мог заставить себя двинуться с места и вдруг пришел в себя, дернулся от внезапной догадки. Головная боль — предвестник? Он что, научился *предвидеть будущее*?! Какой ужас!..

Глава 6

Целую неделю все было тихо: телефон молчал, почта спала, никто не мешал работе, Генрих обрел форму и снова накрепко сдружился с передним салто, так неожиданно показавшим свой крутой нрав. Голова не болела, артист был почти спокоен. Потом позвонил Роман и сказал тоже спокойно, как ни в чем не бывало:

— Надо бы встретиться, сынок. Завтра мои, все трое, едут в город. Один остаюсь. Может, подскочишь?

От неприятного разговора не уйти. Как вести себя? Сказать правду? Он не умеет обсуждать свои чувства с посторонним человеком, даже таким близким, как Рома, тем более с таким близким, как Рома. От этой мысли Генриха бросало в дрожь.

По окончании репетиции он собрал реквизит, осмотрел, как делал всегда, место работы и небрежно бросил Оскару:

— Завтра хочу попозже прийти, не возражаешь?

— А что такое? — насторожился «отец». — Опять плохо себя чувствуешь?

— Прекрасно чувствую, настолько прекрасно, что осознал себя белым человеком. Имею я право позволить себе маленькие человеческие слабости: поваляться в постели, не спеша выпить кофе, а не мчаться спозаранку «к станку»?

— Имеешь, конечно, но помни: скоро начало сезона. Нельзя расслабляться.

— Ну, Оскар, — улыбнулся «белый человек». — Я ведь не школьник. Все знаю, помню, разумею, — и легкой походкой направился в гримерку.

Он не хотел торопиться, он предпочел бы медленно тащиться по предвесенней дороге в расчете на то, что этот скользкий путь не кончится никогда. Но словно сам по себе, автомобиль летел с недопустимой скоростью, и никакие служители правопорядка не пытались остановить нарушителя. В голове Генриха звенела пустота, как будто все мысли одновременно вырвались из черепной коробки и летели теперь по ветреному воздуху вместе с машиной, пугая голые ветки деревьев и играя обледенелыми снежинками, постукивающими в стекло. Он подкатил к дому, резко тормознул и побежал к крыльцу, где уже стоял Роман, кутаясь в шерстяной жилет.

— Холодно-то как, — поеживаясь, сказал хозяин. — Ветер с ума спятил. Что за погоды нынче стоят? В прежние-то времена все по порядку шло, тихо, мирно. Говорят, раньше плохо жили, а теперь — лучше, что ли? Все перепуталось, что природа, что люди...

— Не брюзжи, Рома, — как ни в чем не бывало одернул старика гость. — Зачем раздетый вышел? Пошли в дом.

— Да я хотел прогуляться...

— Ты же на погоду грешишь! Какие прогулки?

— Не могу я дома сидеть, надо двигаться. Нервы... Ты зайди, посиди пока, а я оденусь потеплее. Сам-то как, утепился?

— Нормально...

Они пошли рядом по тихой пустой улице, по поблескивающему тротуару, обернутому тонкой пленкой льда, в сторону ближнего лиственного леса, хаотично машущего раздетыми ветвями.

— Слышишь, как воеет? — произнес Рома. — Это потому, что листьев нет. Когда есть листья, не так тревожно: шепот успокаивает. А голые ветки свистят, как плети. Бр-р...

— Зачем мы туда идем?

— Не знаю. На закрытом месте как-то спокойнее. Хорошо, что у нас такая лесистая местность. В лесу человек не чувствует себя одиноким. Хотя, конечно, при таком ветриле дерево может и упасть. Но это лучше, чем одиночество.

— Философ ты, Рома.

— Нет, я печальный созерцатель. Вот посмотри, что сделали с лесом. Ты в эту сторону не ходил, да? Здесь скучно и грустно. Остался один островок, все вырубил, народ живет, богатеет, строится. А мне жалко.

— Ты, между прочим, тоже здесь построился.

— Нет, я строил на пустыре, леса не трогал. Нельзя рубить по живому. Как по душе пилить...

Переход к душе означал начало разговора на заданную тему, — Генрих это понял, но молча ждал, медленно шел рядом, преодолевая рыхлую глубину снега и слегка поддерживая старика под руку.

— Да-а, так я о душе...

— Я понял.

— Что у тебя с ней? — вдруг, резко остановившись, повернулся к нему Роман и едва не запутался в снегу.

— С душой?

— С девчонкой, невесткой моей?.. Чувствую, это ее штучки. Ты ведь не такой, ты серьезный человек.

— Вот именно: я человек серьезный. Штучками не промышляю.

— Начнешь мне про любовь петь? Не смей, ради бога. Что тут любить? Дура, вертихвостка. Ее полюбить мог только такой лопух, как мой Миша. А ты-то! Не устоял, что ли?

— Не устоял, Рома. Больше тебе скажу: мне четвертый десяток, а столкнулся с этим впервые.

— Да брось ты! Сколько девок мы с тобой перещупали в том домишке за поселком! Это я теперь постарел, а ты, поди, и сейчас туда ходишь?

— Не хожу. И там было совсем другое. Рома, я в самом деле, оказывается, человек серьезный. Ничего не могу поделывать, дорогой. Прости, если можешь.

— Да-а... — задумчиво протянул старик. — Не ожидал от тебя.

— Я и сам не ожидал.

— Беда-то в том, Гена, — продолжал старик, снова остановившись и глядя в лицо спутника похолодевшими глазами, — что я тоже человек серьезный. Я люблю свою семью, сына, которого наконец обрел на старости лет. Не хочу, чтобы он страдал. Хочу внуков. И поэтому *должен* любить невестку, как дочь, какой бы она ни была. Люблю и тебя. Но ты такое безобразие прекращай! — вдруг закричал он.

— Как ты это себе представляешь?

— Обычное дело. Твердо, по-мужски — поигрались, и хватит. На некоторое время перестанешь к нам ездить, девчонке доходчиво объяснишь ситуацию. Прикинешься страдающим, жертвующим собой ради друга. В конце концов, друг я тебе или нет?

— Прикинусь страдающим? А истинного страдания ты не допускаешь?

— Не допускаю, и не пачкай мне мозги, сынок. Сворачивай свое приключение, ищи женщину достойную, как моя Аллочка, например. А эту уж оставь Михаилу. Он ведь любит ее, Гена. И он мой сын. Обещай завязать с этой историей, пока никто не догадался.

— Не могу обещать. Не получится.

— Чем она тебя взяла? Секс, что ли, какой-то особенный? Два акробата в одной постели?

— Не упрощай, Рома. История действительно серьезная.

— Любишь ее?! — вскричал Роман.

— Именно так. И все родственные и дружеские чувства в данном случае бессильны.

Роман кинулся вперед, поддевая ногами снег, задыхаясь, не оборачиваясь. Сквозь поредевшие деревья пробивались холодный свет и отчаянный вой ветра — необузданного хозяина пустого пространства. Лес кончился. Они остановились на льдистой кромке глубокого котлована.

— Вот тебе и все, — прошептал, едва разжимая губы, Роман. — Приехали. Нет больше леса, опять стройка.

— Что тут строят?

— Какой-то очередной дворец, — и вдруг заговорил быстро, путано, сам себя перебивая: — Нет, я не допущу. Слышишь, Гена?! На чужом несчастье счастья не построишь. Змею пригрел на груди... Но и я не так прост, умею бороться и побеждать. Помнишь, как суд выиграл? Спартак, конечно, помог, но что бы получилось без моего упорства? Боролся до конца... А теперь ты, как те мошенники, отнимаешь у меня самое дорогое — счастье сына. Не получится. Я злой.

— Чудак ты, Рома, — перебил его Генрих, начиная терять терпение. — Ни ты, ни этот Спартак не выиграли бы дело без моей помощи.

— То есть как?

— Неважно, долго рассказывать. Потом как-нибудь...

— Никакого «потом» не будет. Уедешь сейчас и исчезнешь. Понял меня?

— Нет.

У Генриха в голове стучали молотки, гудела пила. Странно: такой трудный, болезненный разговор, а внутри черепной коробки до сих пор было тихо и смиренно, мысли словно разминались легкими прыжками и приседаниями, не помышляя о «винтах» и «флик-фляках». И вдруг прямо с места — переднее сальто... Сейчас он сорвется.

— А если «нет» — приму меры. Думаешь, если я старый, то и бояться меня не стоит? Стоит, Гена. Я бизнесмен, у меня есть друзья, хорошие, крепкие ребята, без них ни в какие времена не обойдешься. Ты уж прости, но они тебя поучат, вразумят так, что неповадно будет. А что делать, если ты слов не понимаешь и считаешься не хочешь? Еще и ославлю тебя. И Оскару расскажу, что ты за фрукт... Заканчивай эту историю, чтобы потом не пожалеть.

Смешно. Его что, могут испугать крепкие ребята, которые специфическими приемами начнут выбивать из него любовь? Ох, Рома, дурачок, люди за любовь на смерть идут, а ты о каких-то ребятах толкуешь. Не в них, Рома, дело и не в дурной славе. А дело в том, что ты позволяешь себе лезть в душу, ковыряться там и выбирать, что выбросить, а что оставить. Командир чужих чувств: стой — раз-два!

Генриха охватила ярость. Он был так оскорблен, что впору было кинуться в драку, но он никогда не дрался: в детстве, потому что боялся насмешек, теперь — потому что осознавал свою силу и опасался ее.

Они стояли на краю котлована: крутой льдистый берег, камни на дне, завихрения комков мерзлой глины вперемешку с неопрятным зернистым снегом, словно рваный серый дым клубился над задыхающимся влагой костром. Генрих чувствовал, как колотится сердце, как пульсируют в голове мысли — маленькие огненные точки, искры, порождающие пламя. Как смеет этот старик посягать на его свободу? Этот мелкий человечек, который ползает по земле в то время, когда он, Генрих, бегаёт над ней по проволоке?!

Все вышло случайно, потому что — ветер, скользко, неровная земля. Генриха просто качнуло в сторону, а много ли старику надо? Никакой устойчивости, да еще весь на нервах. Все вышло *случайно*. Несколько секунд полета — и на дне котлована лежит, раскинув руки, неподвижное тело. Надо бежать вниз, посмотреть, что там произошло. Сильно ударился, расшибся? Склон отвесный, заледенелый, но разве это препятствие для гимнаста? Надо бежать вниз, как-то поднимать пострадавшего на поверхность, везти в больницу. Поскользнулся, не удержался, ноги слабые. Надо срочно вниз, проверить... Генрих стоял и смотрел на распростертого внизу друга.

— Рома! — крикнул он.

Молчание в ответ, только несколько камней от звука его мощного баритона сорвалось с насиженных мест и, шелестя, покатилося по откосу. Сознание потерял? Надо срочно вниз. Нет, сначала узнать, жив ли? Жив ли?!

— Рома! Подай голос!

Если сесть вот здесь, на камень, обхватить голову руками, напрячься, он все увидит. Он умеет *видеть*, природа одарила его при рождении, сделала человеком *особенным*. Он узнает все, прежде чем полезет вниз. Он не может видеть это вблизи. Он не виноват, его просто качнуло в сторону. Его качнуло?..

Он увидел так отчетливо, словно стоял на коленях перед неподвижным человеком, искал его пульс, пытался поймать дыхание. Нечего ему делать внизу. Рома мертв, безоговорочно, катастрофически мертв. Нужно срочно уходить отсюда.

Никто не встречался им по дороге сюда. Никто не знал, что двум чудакам в этот ненастный предвесенний день приспичило гулять в лесу и тащиться по снегу к разверстой пропасти котлована. Сейчас он позвонит Оскару, скажет, что проспал до полудня и через час будет в цирке. На берегу обрыва — лед, никаких следов, тем более что он вообще ни в чем не виноват. Он был зол, это правда, но это же не значит, что он убийца!

Он сидел на холодном камне, слушал какофонию звучащего в голове оркестра и удерживал себя от желания встать и еще раз заглянуть на дно котлована. Но все-таки заглянул — а вдруг произошла ошибка? Никакой ошибки. Но он не виноват...

Разумеется, все обошлось, если не считать, что гибель главы привела семейство в состояние беспросветного отчаяния, когда понимание ужаса случившегося переплетается с полным непониманием факта грома среди ясного неба. Воссоединение семьи, удачный бизнес, безбедное существование — и вдруг все закончилось. Остановка бега на полной скорости почти смертельна, для реанимации требуется слишком много времени и сил, и инвалидность — самый счастливый итог выхода из комы. Но как жить дальше, если жить все-таки необходимо?

Генрих, благополучно убедив себя в невинности, продолжал автоматически работать, запрещая себе думать о случившемся как о невосполнимой потере, когда уходит из твоей жизни очень близкий человек, друг, почти отец, и в ушах звучит его голос, перед глазами мелькают черты лица, походка, жесты, — но, как во сне, нет возможности прикоснуться, силуэт-призрак уплывает и растворяется в воздухе. Конечно, пропавшего человека искали, нашли, но даже дела о гибели открывать не стали. Все очевидно: пошел гулять, поскользнулся, человек старый, погода ненастная. Приносим вам свои соболезнования...

Надо было позвонить Аллочке — Генрих не мог. Потом все-таки решился, выслушал ее слезы, сказал нужные слова. Помогал на похоронах и снова был старым надежным другом, на которого всегда можно положиться. Опора, кремень, мускулистый гимнаст, бегающий по проволоке. Канатоходец, показывающий фокусы. Генка-Гвоздь, по шлямпу вбитый в землю, потому что на ней надо крепко держаться.

Ночью, вернувшись с похорон, он долго не засыпал, позволил себе выпить и плакал один в квартире, затыкая рот подушкой, словно кто-то мог его услышать. На следующий день пошел к матери, ел жареную рыбу с картошкой и думал, как хорошо, если есть у тебя родительский дом и мать, которая подает на стол любимое блюдо сына, мать, которая узнала наконец цену своему непутевому придурку. Мать... Хорошо бы полюбить ее...

С Дианой он не виделся. После похорон между ним и ею словно закрыли шлагбаум — нельзя переходить через рельсы во время движения поезда. Наконец она позвонила.

— Куда ты пропал? Мог бы приехать, Аллочка очень плоха.

— Я занят сейчас.

— Ты всегда занят. Как будто на земле и дел больше нет, кроме как на проволоке кувыркаться.

Он ничего не ответил. Молчал.

— Послушай, Гена, как ты думаешь, почему это случилось? С Ромой...

— Он переживал за сына, когда нас с тобой застучал. Остался дома один, нервничал, стало неважно — пошел гулять.

— Зачем же он потащился к карьеру?

— Откуда я знаю? Мучился, мотался по лесу, случайно вышел к котловану.

— Нечего было ему мучиться. Куда бы я делась?

— Да?

— Да. Очень мне нужно вечно за тебя трястись. Такие самоубийцы, как ты, должны жить в одиночестве... Так ты когда приедешь?

— У нас скоро представление.

— Ты, конечно, готов.

— Естественно. Я, как пионер, всегда готов. Но тренироваться усиленно продолжаю.

— Так когда приедешь?

— Не знаю.

Вот так. *Очень мне нужно...* А что тебе нужно, девочка? Что? Вообще? Тебе? Нужно? Просто скучно жить, но выгодно — богатая семейка. Генрих тоже не бедный и не

скучный, однако беспокойно. Практичная женщина окончательного выбора не делает. Она совмещает приятное с полезным. Она *получает все*. О каких чувствах может в таком случае идти речь?

Но он позвонил ей еще раз, ни на что не надеясь и одновременно надеясь.

— Ты действительно не собираешься связывать со мною жизнь?

— Конечно. Я ведь замужем. Ты забыл?

— А со мной у тебя что?

— Не усложняй, Геночка. С тобой у меня стр-р-расть! И вообще, ты хороший, с тобой интересно.

— А если пройдет интерес?

— Сказано: все проходит. Главное — не успокаиваться на достигнутом.

— Ну, достигай, постигай. Успеха тебе, детка.

— Когда приедешь-то? Я соскучилась.

— Чудо ты мое! — засмеялся Генрих.

— Чудо, а не твое. Но ведь это тебе и нравится?

Да, парадокс. Именно то, что ему нравится, ставит увесистую точку в отношениях: посылка с Небес, которую он так долго ждал, оказалась неподъемной, или просто пустой, или набитой камнями, или вообще не для него предназначенной.

На фоне такой потери померкло остальное: и друг, которого больше нет, и слабо сопротивляющаяся совесть, и дом близких людей, который он навсегда утратил, и женщины, которых так много вокруг, только помани, а манить не хочется. Остались только натянутая над землей проволока и ощущение вдохновения, полета, когда ты скользишь по ней над пропастью, и все, что есть на земле — там, внизу, — видится мелким, ничтожным, не стоящим внимания человека-птицы.

Глава 7

Незадолго до открытия сезона на цирковом корабле вспыхнул бунт. Молодые «серебряные братья» нового поколения чувствовали себя оскорбленными, побросали на манеж, как перчатки, тяжелые балансиры, приглашая обидчика на дуэль. Обидчиком был Генрих, но негодование обрушилось на Оскара, — конечно, начальник в ответе за все, что происходит во вверенной ему структуре. Тем более что и сам начальник был виноват лично, потому что именно он допустил и *насадил* несправедливость, когда один служащий поднимается высоко по спинам других не менее ценных служащих, причиняя им физическую и нравственную боль. Генриха Серебряного — гвоздя номера — пора было выкорчевать с корнем.

«Братья» выстроились на манеже в короткую шеренгу, все молодые, одинаковые, с «хвостиками» длинных волос на шеях, — воинственные смельчаки, решившиеся на подвиг в борьбе за справедливость. Все против одного, крепкого, но старого. Они убьют его? Вряд ли... У него есть Генрих — старший сын.

— Ну, что случилось, парни? — спокойно спросил Оскар. — Пора работать.

— А зачем нам работать? — откликнулся «силовой», покраснев, как девушка. — Мы все трюки, как детские стишки, давно выучили. Надоела эта зубрежка.

— Иначе нельзя, не мне вам объяснять. Вы как будто вчера родились.

— В том-то и дело, что не вчера. Уже кое-что умеем, а у вас только один гимнаст — Генрих. Ему на пенсию пора, а все красуется — с вашей помощью.

— Ты мне на Генриха не тычь, — начал злиться Оскар. — Тебе и всем вам еще расти да расти, и вряд ли до него дорастете. Нашли пенсионера! Быстро приступайте к работе! Амбиции у них...

— А вот возьмем и не приступим, — пропищал самый молодой, мелкий и тонкий гимнаст, исполняющий роль «мальчика» вместо погибшего Антона. — Возьмем и сорвем номер. Мы тоже не лыком шиты.

— Ишь, герой, — хохотнул Оскар. — Ты у меня первым вылетишь, слишком разросся, на «мальчика» не тянешь... А ну, быстро к снаряду!

— Нет, Оскар, — твердо сказал «силовой», бледнея. — Давайте договариваться. Обещайте нам...

— Я вам что-то обещать должен?! Это вы мне обязаны обещать стопроцентную дисциплину, старания и полное подчинение — иначе весь номер развалится, и кому тогда вы вообще нужны? Закрывайте свое *новгородское вече*, пока я добрый.

— Не будем работать, как Петрушки, мы творческие люди, — подал голос самый старший. — Провалим представление, вам же хуже будет.

— Ты еще мне угрожаешь?! Да пошли вы... — выругался Оскар и направился к кулисам. — Всем выговор за сорванную репетицию, — добавил он и ослабил: — Кроме Генриха...

Гимнасты разбрелись по манежу, покачивая руками и покручивая ногами — автоматически, по привычке разминаясь. Генрих отошел к краю арены, сел в расслабленной позе безмятежного наблюдателя: руки уперты в бордюр, ноги вытянуты, голова чуть откинута назад. Надо что-то делать, мальчики разыгрались. Он мог бы легко их утихомирить, для этого требовалось поработать с волшебством, притаившимся в его черепной коробке, выловить какой-нибудь неприглядный факт из биографии хотя бы одного или двух, припугнуть, а то и запугать до смерти. В конце концов, к боли он почти привык, черт с ней. Вот уже начались покалывания в висках, мозг сжимается и растягивается — сейчас гармошка заиграет. Берегитесь, ребята!

Генрих замер, ухватившись пальцами за барьер. Стоп, стоп... Что-то неверно, не так. Пугать никого не надо, в чем-то эти добры молодцы правы. Нет, он, Генрих, еще не стар, полон сил и вдохновения, но Оскар действительно пренебрегает остальными, зациклился на солисте, а мог бы сотворить роскошный, феерический номер, где «серебряные братья» засверкают всеми гранями благородной оправы, внутри которой еще ярче заблестит драгоценный камень — гвоздь программы Генрих Серебряный. А так ли уж нужна слава Генриху Серебряному? Нужна, конечно. Есть ли на земле артист, который не жаждет аплодисментов? Но все-таки главное в жизни — не деликатесная еда и не еда вообще. Главное для жизни — побольше воздуха для дыхания. Воздух — вот самая здоровая и полезная пища.

Генрих провел ладонью по лбу, тряхнул головой, изгоняя надвигающуюся боль.

— Подойдите-ка сюда, пацаны, — сказал негромко, и гимнасты, услышав зов, замерли каждый на своем месте, потом медленно потянулись в его сторону. — Идите, идите сюда, поговорим. Я вам не враг, хоть вы на меня наезжаете. Слаженный получился у вас ансамбль, только неумно это... Слыхано ли дело — забастовка канатоходцев?! А у нас впереди сезон работы, люди деньги заплатили за билеты. Вы же артисты, нельзя пренебрегать публикой.

— Вот именно: мы артисты, — перебил его «силовой», — а не игрушечные акробатики на ниточках. Твой Оскар, Генрих, совсем зарвался, вместе с тобой.

— Я-то как раз не зарвался, я на вашей стороне.

— Ой, не могу, — приснул «мальчик». — Он на нашей стороне! Да из-за тебя весь сыр-бор.

— Может, из-за меня, но я не виноват. Я действительно старше вас и понимаю, что век мой недолог. Оскар тоже был отличным гимнастом, потом стал руководителем группы, хорошим тренером, что бы вы ни говорили. Но теперь он постарел, меньше

энергии, меньше фантазии — это верно. Значит, что нам надо? Все по порядку, это называется преемственностью поколений: Оскара на покой, меня на его место. Я ведь еще молод, ребята, во мне жизнь бурлит, я вам таких трюков напридумываю, что цирк взорвется. Каждый сможет показать себя во всей красе. А себе оставлю один выход для возрастного контраста. Поняли меня?

— А как ты собираешься Оскара спихнуть? Он в канат зубами вцепился, не оттащишь.

— Это уж моя забота. Сумею убедить, уговорю. Следующий сезон начнем уже без него. Только не рыпайтесь пока. Смешно, честное слово. Как дети, расшалились.

— А ты не врешь?

— Что я вру? Я же понимаю: ничто не вечно под луной. Мы все это одинаково понимаем. Такова жизнь, пацаны. Пошли дело делать. Оскар вернется, увидит, что мы работаем, простит вашу дурацкую стачку...

Нет, не дожидетесь, мальчишки. Генриху Серебряному еще рано в отставку. *За хорошие деньги* он сможет совмещать работу гимнаста с тренерской, у него полно идей, руки чешутся — он поставит взрывной аттракцион. Но не на общественных началах, а только за деньги. Зачем ему деньги, у него и так их много? Как зачем? Всякий труд должен быть оплачен. И вообще: чем больше человек — тем больше у него денег.

В свой выходной день Генрих решил навестить Оскара и его семейство. Он не собирался пока начинать кампанию по оздоровлению и обновлению коллектива — зачем дергать нервы себе и «папе» перед открытием сезона? Но он хотел прощупать почву и убедиться, что правильно выбрал исполнителя затеи. Нина, жена, друг и помощник руководителя группы канатоходцев, должна была, по мысли Генриха, направить мужа по единственно верному пути передачи власти достаточно молодому преемнику. Нина вполне подходила для такой роли: негромкая, спокойная, уютная, она кого угодно сможет уговорить, если захочет. Есть такие мудрые женщины, назвать которых *хитрыми* язык не повернется. У них чутье, интуитивное понимание сущности собеседника и умение как-то так сложить слова в предложении, такой выбрать тон, такое время и место, что ничего просить, а тем более требовать не придется: то, что ей надо, предложит сам обрабатываемый, искренне полагая, что мысль поступить так, а не этак, пришла сама в его личную умную голову. Нина может внушить мужу что угодно, и внушала, и руководила всегда, вела в нужную ей — и ему, само собой, — сторону. Только вот сына Антона не уберегла от цепких лап манежа, но тут, видно, сыграло роль материнское тщеславие: сын — артист цирка, а ему и двенадцати не исполнилось. «Тщеславие губит, — мимолетно подумал Генрих и отмахнулся от этой мысли. — Нет, тщеславие движет вперед, к победам, к успеху. Тщеславие — это преодоление...»

Он давно не видел Нину, надо пообщаться, присмотреться, чем она сейчас дышит, — и в бой. К концу сезона у группы канатоходцев будет новый руководитель, потому что Генрих Серебряный всегда получает то, что задумал. Он и с Динкой, этой леди Ди, мог добиться победы. Но не хотел. А чего он хотел? Он хотел, чтобы она принадлежала ему полностью и по доброй воле, чтобы она отдала ему себя, а он бы взял. И взял с радостью, ощущая себя не только победителем, но и владельцем, обладателем ценногоклада. Эта девочка должна была принадлежать ему, но она принадлежала только себе, а он, как бы там ни было, все-таки не был вором, он не хотел брать чужого, даже если это чужое кажется своим. Своим, черт возьми, до глубины души, до кончиков пальцев...

Такой поворот мыслей мог привести к катастрофе, к гибели самых твердых намерений, разбившихся о каменную преграду недавнего прошлого, — авария была Генриху ни к чему, он вырулил и плавно поплыл по своему пешеходному маршруту, который выбрал сегодня сам, специально оставив машину в гараже, чтобы насладиться

первым весенним днем. Зима, подгоняемая жесткими кнутами солнца, позорно бежала, забыв впопыхах остатки своего богатства — мелкие серые сугробы вдоль обочин тротуаров. Никто эти крохи подбирать не будет, они растратят себя на солнце к концу дня, и побегут столь редкие в городе ручьи, и, может быть, какой-нибудь городской мальчишка додумается пускать вплавь кораблики из газеты, а не из газеты, так из дерева или даже пластмассы, — все равно это будет приветом из детства. Какая разница, у кого какое было детство? Всякий «мультик» прекрасен уже тем, что жизнь в нем игрушечная, ненастоящая — фантастическая. И хорошо, что солнце бьет по глазам, успевающая одновременно ударить по стеклам витрин, наполняющих улицу дополнительным светом. А на небе топчутся, переминаются уставшие стоять на месте единичные облака, и нет у них никакой возможности сблизиться друг с другом для хмурого рукопожатия. Одинокие облака — символ красоты одиночества...

Оскара не оказалось дома — пошел с утра с Алешей на каток. Весна не весна, а ребенок должен заниматься спортом. Ясное дело, у ребенка впереди манеж, тут к бабке не ходи. Нина понимает, но молчит. Или не молчит?

— О, Генрих, давно тебя не видела, — обрадовалась она. — Заходи, мои придут через пару часов. А мы пока чаю попьем, у меня нынче пирог с курагой. Любишь?

— Любить-то люблю, только мне надо вес держать. Твой Оскар мне за кусок пирога башку открутит. Но я рискну.

Нина, двигаясь плавно, не торопясь, накрывала на стол. От пирога шел сдобный запах, и оранжево-красная курага переливалась янтарем в струящемся из окна солнечном свете.

— Вот еще булочки с корицей. Может, выпить хочешь?

— Посмотрим, когда Оскар вернется. Разрешит — выпью.

— Ты такой послушный?

— Да, послушный. И знаешь, мне не трудно: пью редко, обжорством не страдаю. Ну, разве что иногда в ресторане съем лишнее или у мамы.

— Твоя мама хорошо готовит?

Господи, какая чушь ее интересует!

— Хорошо готовит, она всегда следила, чтобы ребенок был сыт.

А за чем еще она следила? Чтобы был чистым и не шлялся...

— Ты никогда не говорил о маме? Вижу, очень любишь ее.

— «О любви не говори, о ней все сказано», — пропел Генрих.

Какая милая, примитивная женщина эта Нина. Кремень, завернутый в вату. Вот такой должна быть жена: полненькая, с добрыми серыми глазами, мягкими ручками и аккуратно постриженными ногтями. Никогда не скандалит. Не кричит и редко плачет. На полной белой шее — тонкая морщинка и нежное углубление, которое почему-то хочется потрогать. Сколько ей лет? Хитрюга Оскар знает толк в женщинах, плохую не возьмет — подавай ему молодую пышечку. Он старше ее лет на двадцать, если не больше. Ну, и как это у них получается, интересно знать?

— Меня Ося беспокоит, — говорила Нина, мелкими глотками прихлебывая чай и держа двумя пальцами кусок липкого пирога, — совсем он плох.

— Что такое? — не понял Генрих

— Возраст. Что тут скажешь? Устает, тревожится все время. Что-то его мучает или болит? Не знаю, не говорит.

— Отправь его к доктору.

— Да разве его отправишь?! Молодится, думает до смерти канатоходцем останется, а жизнь-то идет, Генрих. И сколько в ней всего, Боже ты мой! Антоша вот погиб, в группе какие-то неполадки. Что у вас там происходит?

— Ничего особенного, все как всегда. Просто с возрастом реакции меняются. Устает он, конечно. Это видно.

— Может, ему на пенсию пора?

— Может, и пора, только как же без него? На нем весь номер держится.

— На нем и на тебе немножко, — улыбнулась она. — Не скромничай.

— Я не скромничаю, но и хвалиться не хочу. Меня Оскар создал, научил, поддерживает. Хотя, конечно, и он постарел, и я не вечен. Грустно, но факт. И уходить надо вовремя. Он мог бы консультантом остаться, столько опыта! А каждый день вкалывать — не знаю...

— Так посоветуй ему, он тебя уважает, послушается.

— Это он *тебя* послушается, радость моя. А у меня нет никаких прав, да и не умею я уговаривать. А ты сможешь, — он по-дружески похлопал ее по спине, потом погладил по голове и коснулся шеи. — Ты мягкая. Я имею в виду характер, — и улыбнулся.

Она автоматически протянула руку, взяла булочку с блюда, надкусила и медленно жевала, глядя в чашку. Потом вскинула на него глаза и замерла.

— Что, Нина?

— Ничего, так... Ты очень красивый.

— Нашла красавца! Я урод, милая. Голова приплюснута, как шляпка у гвоздя. У меня и прозвище было в детстве — Гвоздь.

— Гвоздь, — повторила она. — Не знаю. Волосы у тебя шикарные, фигура, голос и вот это... — она провела пальцем по его лицу, от носа к подбородку. — Такие морщины мужчине не старят, мужественность подчеркивают. Суровый ты, а когда улыбаешься — добрый, — смутилась, покраснела и отпила из пустой чашки. — Почему ты не женишься?

— Не нашел такой, как ты.

— Я?!

Зазвонил телефон. Нина тряхнула головой, откашлялась:

— Алло.

Как ей идет смущение! Какой нежный голос, ласковый голос лисички-сестрички из сказки. Такому голоску нельзя не поверить. Уведет тебя, околдует, а ты этого не заметишь и проживешь жизнь счастливо. И тогда какая разница, что в твоей жизни творилось на самом деле? Так и не поймешь до конца.

— Мои задерживаются, — сообщила Нина, кладя трубку. — После катка в «Макдональдс» зайдут, Алеша любит. Ося против такой еды, а отказать не может, обожает мальчишку. Ты не уходи, подожди их.

— Ты бы сказала ему, что я пришел. Пусть поторопится.

— Как-то я не подумала.

Генрих все-таки коснулся тонкого шнурочка, опоясавшего ее шею, и углубления, в котором трепетала голубая жилка. Он коснулся и не мог остановиться, а она сидела неподвижно, глядя ему в лицо потемневшими тревожными глазами. Она молодая, живая, что ей делать рядом со стариком?..

Нина плакала. Вот тебе и раз, а он думал — никогда не плачет. Плакала, уткнувшись лицом в его грудь:

— Что я натворила?! Что я за дрянь такая? Ты и сам не будешь теперь уважать меня.

— Уважение к человеку не может пропасть от одного несчастного случая.

— Несчастливого случая?

— Ну, случилось. У меня давно уже «постные» дни, у тебя, думаю, тоже. Порадовали друг друга и будем жить дальше. Оскару необязательно знать. Кстати, где он? Хочу повозиться с Алексеем, соскучился.

- Ты собираешься их ждать? После того, что случилось?!
- Разные вещи. Одно другому не мешает. Что же я буду убегать, как нашкодивший пес?
- Нет, ты все-таки уходи скорее.
- Хорошо. Если хочешь... — Генрих обнял ее за плечи, удивляясь своему равнодушию. — Но ты все-таки успокойся, приведи себя в порядок. Не надо расстраивать мужа, он и без того плохо себя чувствует. Поработай над ним, убеди уйти на покой. Он нам всем дорог.
- Не знаю, как жить теперь буду, Генрих.
- Ты никогда ему не изменяла?
- Нет, что ты! Никогда.
- Ну, ничего, привыкнешь, — некстати улыбнулся он и тут же прогнал улыбку. — Ничего страшного не произошло.
- Но как же теперь? Мы больше не увидимся? Так, как сегодня...
- Возможно, увидимся. Наверно... Дело случая. Чувства возникают и уходят независимо от нас, чувства — это вспышки. Тем и хороши.
- Нет, Генрих, со мной иначе. Я ведь... люблю тебя. Думала, обойдется, а не обошлось, — и она снова заплакала.
- Не плачь, иди умойся. Пирог у тебя вкусный, молодец, хорошая хозяйка. Пошел я. Позаботься о муже, обещаешь?
- Обещаю, — прошептала она. — Приходи почаще, Генрих.
- Как уйдет учитель на покой, буду чаще приходить. Трудно без него придется. Но надо, надо, Ниночка... Запри дверь за мной, дорогая.

Она любит, вот и прекрасно. «Ты красивый...» Ну, положим, о красоте говорить смешно. И неважно это. Если ты кажешься женщине красивым, значит, чувства ее глубоки и глаза замылены. Вот тебе и подарок судьбы. Шевельни пальцем — и твоя навеки. Тишина, покой, пироги и булочки. Она всегда рядом и не мешает. Только шевельнуть пальцем. А как быть с другом и учителем? Учитель остается учителем, друг — другом. Сколько на свете тропинок, бегущих параллельно в одном направлении! Есть, конечно, чувства-вспышки, но существуют и другие чувства. Листья меняются посезонно, ветки остаются. Только не надо гнуть их слишком сильно — можно сломать.

Отнять жену у друга — дело нехитрое. А это надо? Вот главный вопрос. Было бы надо — тогда извини, Оскар, подвинься. *Неисповедимы пути Господни*. Извини, Оскар. Тем более что и толку теперь от тебя никакого. Вчера был учителем и другом — сегодня никто. Разбежались, расплевались.

Она любит. Она может быть идеальной женой, у нее мягкое тело и честные глаза. Она сдобная и сладкая, как пирог с курагой. А ему нужна та, другая, колючая, корыстная, беспринципная. Наверно, он все-таки урод. Вот сейчас, сию минуту, после обладания чудесной женщиной, женой друга, он готов помчаться в дачный поселок, во дворец, где живет принцесса Диана, упасть на колени перед капризной леди Ди и просить ее, молить подарить ему если не жизнь, то хоть пять минут из жизни, и он станет богачом, а потом снова нищим — и так до конца...

Закат медленно поднимался от земли, нежной кромкой расплывался по краю неба и занавешивал окна домов блестящими розовыми занавесками. Большой, неожиданно теплый и уютный город мягко обнимал Генриха и превращался в дачный поселок, в котором вот-вот оживут бессмертные деревья и кусты, приветственно размахивая юными нестареющими листьями. Он *видел*, как напрягаются почки, как летят на песок их клейкие одежды и фисташково зеленеет земля. И много, много воздуха для дыхания...

Он должен поехать туда. Пока не получится, надо перетерпеть, пережить первое представление сезона. А потом... Пять минут — и, может быть, что-то изменится, и вдруг окажется, что Диана стала другой или даже всегда была другой, он просто неправильно ее понимал. А скорее всего, все останется по-прежнему, *должно* остаться по-прежнему, потому что за это, прежнее, он и любит ее так невыносимо.

Генрих стоял за углом дома и никак не мог уйти, словно ждал чуда в задрапированном закатом уголке весеннего города. Он дождался только остановившегося возле дома автомобиля, степенно вышедшего на тротуар Оскара и краснощекого мальчишки, побеговшего, размахивая руками, к парадной двери.

— Стой, Алеша, осторожно, смотри под ноги, — предостерег отец.

«Будущий гимнаст-канатоходец. — подумал Генрих. — Самоубийца, направляемый к пропасти собственным отцом».

Самоубийца. Так назвала его самого практичная женщина Диана. Дело его жизни — прямой путь к гибели. Смешно. Вся наша жизнь — прямой путь к гибели. Но когда ты бежишь, почти летишь, презирая суету, распри и пироги с курагой, дружбу, которая мешает любви, любовь, которая пьет твои соки; когда ты поднимаешься высоко-высоко над всей земной ерундой, это не называется самоубийством, это называется *счастьем*.

Он поедет в поселок. Но не для встречи с женщиной, которой не нужен, а для того, чтобы продать купленный там домик и никогда больше не возвращаться.

У него есть его *дело*. И через неделю — открытие сезона.

Глава 8

Накануне представления Оскар приказал своим добрым молодцам хорошенько отдохнуть, желательно активно, чтобы не думать о завтрашнем дне, отключиться, собраться. Сам же он был энергичен и бодр, но тревожен, как, впрочем, и всегда перед первой демонстрацией новой программы канатоходцев.

Генрих решил именно в этот день поехать в поселок — навести порядок, собрать вещи перед продажей дома. Занятие предстояло не из веселых, но он, зная себя, предполагал, что горькое лекарство грусти окажется полезным для здоровья, потому что превратит печаль в злость, тоску — в энергию, а тяжелые мысли — в предвкушение завтрашнего дня, не в прямом смысле *завтрашнего*, а в переносном, означающем *светлое будущее*.

Генриху показалось, что он прав: труден был только первый шаг через порог, когда недавнее прошлое выскочило из всех углов одновременно и преградило ему дорогу. Он махнул рукой, и фокус удался: путь был свободен. Генрих вошел, походил по комнате, стряхнул пыль со стола, сел на тахту. Что убирать, какие вещи собирать? Он не успел обжить свою *собственность*, и стал ли он вообще собственником? Голь перекатная. Но ничего страшного. *Мир хижинам, война дворцам*. Нечего ему делать *во дворце*, кланяться капризной принцессе. Он артист, у него завтра представление, новая программа и потрясающий фокус, придуманный им самим, человеком вдохновения и творческого полета. Он может *все*, а то, что не может, ему не нужно.

Он закрыл дверь на замок и пошел по дорожке к калитке, подбрасывая кончиком ботинка влажные лепешки слежавшихся прошлогодних листьев. Потом медленно двинулся вдоль почерневшего забора по узкой улочке, извивающейся среди тесно стоящих голых деревьев. Жалкая улица, унылая природа, которая здесь, за городом, все никак не может выбиться из промозглой нищеты, мерзнет под набирающим силу солнцем. Солнца слишком много. Солнце — это неприкрытая нагота, которая перестает быть

красивой, если ее так много. То, что чересчур откровенно, неинтересно. Притягательно то, что прячется, лишь проглядывает сквозь листья, через слова и поступки. Чего-то он не увидел в своей принцессе, что-то пропустил. Когда солнца чересчур много, оно ослепляет.

Печаль не проходила, не превращалась в другие, более полезные чувства, а требовала продолжения. Дойти до котлована, где погиб друг Рома, заглянуть вниз: как выглядят сейчас смертельные камни на дне? Вспомнить: старик поскользнулся сам, никто его не толкал. Припомнить, припомнить... Нет, это уж слишком...

У Генриха заболела голова. Только этого не хватало! Какие сведения из прошлого готов опять преподнести неуправляемый мозг? Или это вести из будущего, на которое уже не раз посягал его таинственный дар?

Да, вести из будущего. Вперед, направо и снова прямо. В конце улицы фигурка. Далеко, не различишь, кто идет навстречу. Но Генрих-то знает, он и шел в нужном направлении: вперед, направо, прямо. И болит голова...

— Гена? — выдохнула Диана. — Ты к нам?

— Просто иду.

— Ты нас бросил, я звонила, ты трубку не брал.

— Я был занят. Почему ты одна?

— Ты же знаешь, я люблю бродить одна.

— Как Аллочка?

— Постарела лет на двадцать, целыми днями сидит в кресле и смотрит в окно, а я на хозяйстве. Готовлю обеды из полуфабрикатов, зато теперь делаю что хочу, и никто за мной не шпионит, — она вдруг заплакала. — Я скучаю, Генрих. Почему ты нас бросил?

— Я *тебя* бросил, девочка.

— Почему, почему, почему?!

У Генриха на миг появилось желание пригласить ее и семейство на завтрашнее представление. Пусть посмотрит, поймет, с кем имеет дело. Посмотрит, поймет, оценит... Развлечется... Может быть, тогда... Нет, девочка, Генрих не клоун, он гимнаст, у него опасная профессия, и он заслуживает уважения. Так он и сказал:

— Я не дворцовый шут, детка, и не мальчик. Развлекайся с другими, а мне мозги не пудри.

— А ты, оказывается, тоже зануда, Гена. Здесь, в России, все скучные. Ходите строем, кричите «ура» и совершаете трудовые подвиги. Надо проще жить, веселее. А когда все всерьез — рехнуться можно.

— Что ж ты приехала сюда из своей развеселой Америки?

— Как приехала, так и уеду, если подвернется случай.

— Ищешь случая?

— Ничего я не ищу. Живу, как могу... Пойдем к нам. А хочешь, погуляем? В лес сходим. Помнишь?

Он помнил, конечно, он все помнил, в том и беда.

— Нет у меня сейчас времени для прогулок.

— А зачем приехал?

Он приехал потому, что собирался продать дом. Но он не будет продавать дом, потому что слабак, потому что сколько ни тренируйся, душа мускулами не обрстет, гибкости не научится и покоя не обретет. По крайней мере, у таких, как он, Генрих-Гвоздь. Гвоздь — не только прочное крепление. Гвоздь — тонкая заостренная палочка, которая гнется от непрямого удара. Он все-таки прогнулся.

Нет, он не продаст свой *миленький* домик в симпатичном дачном поселке. Он поселит туда мать, имеет она право в старости проводить лето на даче? У нее есть сын,

который об этом позаботился, дом купил, она посадит огород, цветы разведет — все как у людей. А Генрих, сын, будет иногда ее навещать, продукты привозить, денег давать. Он всегда хотел любить свою мать. Вот хороший повод... Да, Гвоздь все-таки прогнулся...

Это была блестящая идея. Генрих мог бы додуматься и раньше, если бы представлял себе жизнь с матерью теперь, когда он вырвался из домашнего «рая». Ничего, лучше поздно, чем никогда. Он позвонил с дороги, сказал, что едет, и отдал приказ срочно варить гречневую кашу.

Он ел свою любимую кашу с жареным луком и кетчупом и поглядывал на мать, которая сидела напротив, подперев щеку ладонью, и любовно смотрела на взрослого сына. «Любуется, — думал Генрих. — Может, я в самом деле красивый? Она, оказывается, тоже красивая».

Как она изменилась! Где та злобная, вечно кричащая баба с «шестимесячными» кудряшками и непрерывно артикулирующим ртом? Стройная, в шелковом халате и бархатных домашних туфлях; с короткой модной стрижкой, никаких тебе седых косм — золотистая блондинка с филированной челочкой, небрежно прикрывающей чистый, без морщин лоб. Морщин вообще почти нет, потому что округлилось лицо. Возможно, она даже посещает косметический салон, хотя отрицает, считая, что это неприлично. И глаза у нее если не добрые, то уж точно не колючие, как прежде. Что значит «как прежде»? Генрих не знает, какой она была прежде, до того, как он, придурковатый сынок, и тот, другой, кобель не сломали ей жизнь, неудачно появившись на свет. Может быть, только теперь она стала прежней, настоящей?

Вот что такое сытная жизнь! Сытная и спокойная, да, да, *спокойная*, потому что мать не имеет понятия, чем он занимается на самом деле. Сын никогда не приглашал ее в цирк, да она и не пошла бы смотреть на эту *дурь для придурков*. Она выучила звучное слово «эквилибр» и щеголяет им на каждом шагу. Эквилибрист — это цирковой акробат, а кому как не ее Генке ходить на руках и кувыркаться? Главное, за это хорошо платят, а стало быть, есть все-таки какой-то прок от ее недотепы...

— Значит так, мама, — начальническим тоном произнес Генрих, запивая гречневую кашу чаем с чабрецом, — собирайся, в мае поедешь на дачу.

— Какая еще тебе дача? На дачу только младенцев вывозят.

— Ты отстаешь в развитии, мамуля. Сейчас все достойные, тем более пожилые люди летом живут на даче, дышат воздухом. У меня есть загородный домик... Специально для тебя приобрел, — добавил он после некоторой паузы.

— А у меня спросил? — нахмурилась мать.

— Считаю, что сейчас и спрашиваю.

— Сначала купил, потом спросил...

— А с тобой так и надо. Ты упрямая, но деньги на ветер бросать не станешь — поедешь, если заплачено.

— Что мне там делать, на твоей даче? Никого не знаю...

— Узнаешь, познакомишься. Там вокруг одни богатые живут — чем плохо? Будешь жить, как дама. А я буду навещать тебя как примерный сын.

Мать вдруг закрыла лицо руками и заплакала.

— Вот женщины! — воскликнул Генрих. — Что ни случись — им бы поплакать.

Ему и самому захотелось плакать. Может, это и называется любовью: смотреть и радоваться, что твоя мать плачет не от горя, а от радости, от гордости за тебя, от того, что не сбылись ее привычные ожидания, а сбылось то, чего не ждала. Счастливые слезы матери — разве они не счастье для сына, даже такого, который прикрывает свою слабость видимостью доброго поступка?

Дело сделано. Теперь надо окончательно взять себя в руки, выбросить из головы ненужные мысли о земном, чтобы, не заикливаясь на предстоящем представлении, настроить себя на работу и завтра снова оказаться на высоте, в прямом и переносном смысле. В прямом — то есть на расстоянии пяти метров над манежем, в переносном — много выше, так высоко, как он может и привык. Надо пораньше лечь спать, постараться быстро заснуть и проспять семь часов без пробуждений и сновидений. Так бывало всегда, так будет и сегодня.

Генрих неторопливо шел вдоль длинного многоквартирного дома, мимолетно отмечая про себя красоту и чистоту двора, украшенного деревьями, кустарником и разноцветной детской площадкой, обычно даже в вечернее время оглушающей пространство криками, визгом и смехом детей, густо населяющих дом. Странное дело: тонущий в вечернем сумраке детский мир молчал и, что самое удивительное, был абсолютно пуст, как и весь двор, стиснутый неподвижно застывшими автомобилями. Только впереди, у первой парадной двери скопилась странная неподвижная толпа. Толпа — это всегда движение, колышание, всплески. То, что увидел Генрих, напоминало расплзающееся пятно, оно некрасиво увеличивалось по краям, оставаясь неподвижным и немым. Он приблизился. Мужчины и женщины не молчали, но переговаривались шепотом, устремив глаза наверх, а там, на балконе пятого этажа, перегнувшись через перила, стоял мужчина, держа над пропастью двора какой-то подвижный предмет. Ребенок, совсем крошечный голый ребенок. Он не плакал, но бился в руках мужчины, как погибающее насекомое, дергая лапками и извиваясь.

— Что это? — спросил Генрих у стоящей рядом женщины.

— Папаша пьяный. Рехнулся, хочет ребенка убить... Миленький, уйди, ради бога, — замахала она руками пьяному на балконе.

— Одеядо принесли, — произнес кто-то. — Мужики, натягивайте быстро.

— Стойте! — крикнул Генрих. — Уберите вашу тряпку, она не выдержит тяжести. Отойдите все.

— Ты чего хочешь делать, парень? — не поняли люди.

— Ловить его буду. Отойдите все.

— С ума сошел! Тяните одеядо, быстро!

— Отойдите, я сказал, — гаркнул Генрих. — Эй ты, урод! — обратился он к пьяному. — Давай бросай ребенка, чего стоишь?

— Ах ты, с...! Лови выб..., — неуверенно произнес пьяный, все еще не разжимая рук.

Толпа в ужасе замерла.

— Бросай! — кричал Генрих. — Струсил, гад?

— Пропал ребенок, — прошептала какая-то женщина. — Чей это парень? Откуда взялся? Он не поймает, тяните одеядо.

Он поймал маленького гимнаста Антона один раз, а в другой раз — опоздал. Но сейчас он на месте, стоит там, где требуется.

Пьяный на балконе качнулся вниз и разжал руки. Генрих нежно подхватил тельце, прижал к груди. Мальчик молчал, но был в сознании и смотрел вокруг удивленными взрослыми глазами.

— Возьмите его, — сказал Генрих, передавая ребенка стоящему рядом мужчине. — Закутайте в одеядо, — и кинулся к распахнутой входной двери.

Он летел на пятый этаж через три ступени, забыв дышать, не думая ни о чем, переполненный дикой звериной яростью. На пятом этаже сразу определил нужную квартиру — хлипкая, похожая на картон древесно-стружечная дверь; дверь в нищенское жилище, в котором нечего прятать и нечего охранять, удара плечом достаточно, что-

бы она рухнула плашмя в прихожую. Генрих, грохоча ботинками, пробежал по ней, ворвался в комнату. Пьяный, кажется, слегка отрезвел, стоял у стены, испуганно поводя глазами.

— Ах ты, сволочь! — кинулся к нему Генрих и ударил, не понимая, куда бьет, не умея драться, потому что прежде не дрался никогда.

Он бил человека, как будто выбивал пыль из мебели, забыв о своей силе, не размышляя о последствиях и словно не помня о случившемся. Он бил от ненависти, не видя крови, не замечая, что жертва теряет сознание, не чувствуя скопившихся за спиной людей.

— Остановись, парень, — какой-то мужчина попытался задержать его руку. — Ты убьешь его.

Пожилый крепыш схватил Генриха за локти, оттолкнул, прижал к стене:

— Успокойся. Сейчас медики приедут и полиция. Тебя задержат. У нас самосуд не приветствуется.

Генрих пришел в себя. Полиция, задержат... Нет, нельзя, завтра представление.

— Беги, парень, пока не поздно. Пострадаешь из-за подонка... Это он жене своей мстил, тоже та еще алкашка.

Бежать? Нет. Не хватало ему бежать, как преступник. Он не преступник, пусть этот гад сдохнет, легче земле будет дышать.

Генрих оттолкнул крепыша, направился к пустому проему двери, вышел и медленно стал спускаться вниз по лестнице, сознательно игнорируя лифт. Ему надо уйти, он должен завтра выйти на арену, а не сидеть в полицейском участке. Но *бежать* он не будет.

Уже покидая двор, он услышал сигнал полицейской машины и понял, что опасность миновала. Так же спокойно добрался до машины, включил газ и рванул с места, только сейчас почувствовав, как трясутся руки и ноги, как колотится сердце и болит травмированное выбитой дверью плечо.

Генрих мчался по городу на бешеной скорости, автоматически увертываясь от встречных машин, обгоняя идущие впереди, не обращая внимания на дорожные знаки. Он не понимал, куда и зачем едет. Уже на окраине города сообразил, что, уйдя от полиции в квартире пьяного, может попасться на превышении скорости — это ему сегодня тоже не нужно. Он остановился и упал головой на руль.

Режим оказался нарушенным окончательно и бесповоротно. Вернувшись домой, Генрих принял ванну, выпил чаю и лег в постель, приказав себе немедленно заснуть и проснуться в восемь часов утра. Ничего не получилось. Он вертелся с боку на бок и, стараясь ни о чем не думать, не мог выбросить из головы жуткую картину человеческой мерзости. Секундный полет ребенка в воздухе, словно во сне, продолжался бесконечно — длинная извивающаяся лента полета, фокус, который никогда не заканчивается. Поняв, что не заснет и что думать о соблюдении режима бессмысленно, он встал, достал из бара коньяк, выпил одну рюмку, другую, третью, опьянел и на миг подумал, что завтра Оскар учует запах перегара и придет в бешенство. Ему стало смешно. Послушный мальчик в кои-то веки послушался наставника в самое неподходящее время. Ну и что? Уволят его или выговор объявят? Шалишь, брат...

Плохо, что болит плечо. Он даже не сразу вспомнил, почему оно болит. Что там такое? Подошел к зеркалу, снял рубашку. Огромная, фиолетово-красная гематома. Ах да, он выбил плечом дверь. Удастся ли спрятать синяк от всевидящего ока Оскара? Плевать на Оскара. Обидно, что болит рука, она ему завтра очень понадобится. Он пошевелил пальцами, повертел рукой во все стороны. Болит. Ну, и ладно. К вкусу и цвету боли он привык.

Генрих стоял перед зеркалом, разглядывал свое мутное отражение и думал одновременно о разном: он красивый мужчина, Нина права, он сильный, он спас ребенка, он должен спрятать от Оскара синяк, у него болит плечо, завтра он покажет класс, он еще долго-долго будет бегать по канату, пьяного он почти убил, он и сам пьян, у него было безрадостное детство, и у этого мальчика оно тоже будет несладким. Зачем надо было его спасать?!

Спал он плохо, просыпался и не понимал, где сон, где явь и кто он: худой мальчишка с длинными руками и приплюснутой головой — Гвоздь — или нынешний мускулистый красавец? Во сне он был Генкой-Гвоздем, но люди, окружавшие его, вдруг оказывались нынешними, они махали руками и все вместе кричали, не то за что-то ругая, не то предостерегая. Он страдал, как маленький беззащитный пацан, и дрался жестоко, как потерявший самообладание силач. Однако удары его, разбиваясь о пустоту, не достигали цели, он размахивал кулаками, кричал и плакал — и все мимо, мимо, мимо...

Будильник прозвенел в восемь часов, Генрих вскочил с постели, потряхнул головой, чтобы прогнать затянувшийся сон, сделал несколько приседаний и махов руками. Плечо болело, и сразу вспомнилась вчерашняя история. Нет, вспоминать не стоит. Плохо, когда у гимнаста болит плечо, но он не барышня, он умеет преодолевать боль. Подумаешь, синяк! Пройдет во время работы. Немного тяжелая голова, не стоило вчера пить, это уж точно — не стоило. Но, с другой стороны, не может человек постоянно ходить на поводке, тем более что он и выпил-то не так уж много. Надо хорошо позавтракать, зарядиться на целый день, перед выступлением — ни-ни. Сейчас, правда, есть не хочется. Он решил с утра прогуляться, взбодриться, вернется — поест. Успеется.

В комнате стоял полумрак, Генрих подошел к окну: утро лениво плелось по тротуару мелким дождем, почти невидимым в воздухе, только оставляющим в лужах свои неуверенные следы. Капли прилипали к стеклам круглыми зернышками и негромко постукивали, так деликатный воробушек склевывает с земли неожиданно брошенные каким-то прохожим крошки. За окном — по-питерски смутно и уныло. Человек, которого застигло петербургское сумрачное утро, может примерить его, как шляпу, и приспособить к своему настроению: то опустить поля, то повернуть набок, то сдвинуть на затылок. Петербургское утро сгодится каждому, у кого есть вкус к жизни и средства для разумного существования. Генрих натянул фетровое петербургское утро поглубже на уши: сегодня ему было холодно.

Глава 9

Он решил поехать в центр города: чувствовал потребность в движении, в многолюдье, на фоне которого легче прогнать остатки вчерашнего приключения и неприятных снов. Но город казался пустым: в воскресенье с утра, да еще при дождливой погоде горожане предпочли остаться дома, спят или завтракают под монотонное звучание верного себе Петербурга.

Генрих покатил по Невскому, радуясь непривычной свободе движения, без пробок и толкотни, и одновременно чувствуя себя не на месте, в чужом городе или даже стране, среди незнакомых улиц и зданий. Требовалось срочно найти что-нибудь привычное, родное. Он свернул на Гороховую улицу и направился к Неве. Где-то впереди, за голыми ветвями Александровского сада маячила фигура знакомого с детства человека на коне — Медный всадник, открытка Петербурга, а лучше сказать — портрет, портрет старинного предка, основателя знатного многолюдного рода *петербуржцев*.

Он припарковал машину на Гороховой и пошел к саду пешком. На воротах табличка: *закрыто на просушку*. Жаль. Этот невзрачный садик — тоже символ Петербурга,

тихий оазис, вбирающий в себя все звуки шумного центра города: шепот и грохот Невы, многолюдье Дворцовой площади, удары полуденной пушки и многолетний незагущающий шелест скромного фонтана, который кажется живым, даже когда спит, потому что разбавляет, облагораживает суету своей музыкальной нежностью.

Пришлось обойти Александровский сад по Сенатской площади, чтобы с другой стороны, с набережной взглянуть прямо в лицо *кумиру на бронзовом коне*. Зачем? Он не знал. Или знал? Мощь, воля, движение, полет — вот что нужно ему было сейчас. Он ослабел и потух. Он *не имеет права* именно сегодня лишиться вдохновения.

Генрих стоял лицом к лицу с летящим всадником и ждал помощи от него и от самого себя, ждал появления того окрыляющего чувства, которое придавало ему смелость и восторг человека-птицы. Пустота и тишина царили вокруг, ни туристов, ни местных зевак. Мелкий дождь пропитал камень-постамент, сейчас конь поскользнется на его влажной поверхности, и не останется ничего от силы и одержимости всадника. Да он и не собирается лететь. Он тормозит коня, потому что на камне, как на всей земле, скользко. Конь вонзился копытами в земную твердь, всадник впился пятками в его бока. Так и будет стоять здесь со своей трусливой лошастью. Памятник «Гвоздю» — вот что это такое. Памятник одинокому Гвоздю...

Генрих-Гвоздь — он кто? Почему он всю жизнь одинок: в детстве — презираемый всеми мальчишка, сейчас — известный, *заслуженный* артист России? Нет близких, нет друзей. Был Рома, но где он теперь? Рома погиб, потому что *поскользнулся* на краю обрыва. Был Оскар, но теперь его тоже не будет, потому что... Потому что ученик уже предал своего наставника и собирается предать снова. Так складывается жизнь... Два пожилых человека — вот и все его друзья, к тому же бывшие. Диана? Маленький вертлявый ручеек, с которого, собственно, и начинается свой путь речка его одиночества. Как же так получилось, что он был и остался один? Где развеселые молодые компании, танцы, коллективное озорство и бойкие девушки, которые прекрасны уже тем, что ни у кого из парней не вызывают серьезных чувств? Где хотя бы один друг-ровесник, которому иногда, в минуту откровения можно открыть душу? Даже в цирке, своем родном доме, не нашел он товарища, только коллеги или соперники. Привет, как дела? — и пошел дальше, по дороге потрепав по шее медвежонка или мимоходом отвесив «плюху» смешливому коверному...

Не было никакого смысла оставаться здесь, рядом с одиноким памятником и мучить себя сходством с творением великого зодчего. Как фамилия этого скульптора? Как-то на «фэ», надо посмотреть в Интернете...

Генрих пошел по пустынной мокрой набережной, чувствуя, что хитрый дождь тихой сапой подбирается к телу и уютно устраивается за воротником куртки. Нева, мелко простроченная иголками дождя, ерепенилась, сопротивлялась, играла мускулами и готовилась дать отпор навязчивой тишине ненастного утра. Генрих спустился на несколько ступеней вниз, серые волны с затаенным рокотом плескались у ног. Может быть, сегодня обещано наводнение? Вполне возможно. Когда склонная к истерикам река так податлива и так одинока, она вполне способна выйти из берегов. Кто сказал, что суровая и агрессивная вода — одинока? Да это написано у нее на лице!

Если сегодня случится наводнение, цирковое представление окажется сорванным. «Ну, и слава богу», — вдруг подумал Генрих и испугался своей невероятной мысли. Ему все равно?! Его работа, цель и смысл жизни — ему безразлична?! Нет, ничего подобного. Вчерашняя страшная история со спасенным мальчиком, которому предстоит безрадостная жизнь, опутанное дождем утро, одинокий памятник на берегу одинокой реки — все это минутная слабость, и она пройдет, обязана пройти, потому что сегодня вечером он поднимется на пять метров над землей и будет счастлив своей властью над земной жизнью, не дающейся в руки никому...

Генрих переоделся в серебряный костюм, забрал волосы в «хвостик» на шею. Пора стричься, а жалко, красивые волосы, Нина права. Но слишком густые, будут мешать работе. На днях надо постричься. Он гримировался перед зеркалом и прислушивался, как оживает цирк: невнятный шум голосов, хлопанье сидений кресел, перекличка настраиваемых инструментов в оркестре, когда труба невпопад отвечает скрипке, флейта — виолончели. Он любил эту музыку без мелодий, состоящую только из звуков и рождающую в нем гармонию предстоящего действия. Так оживает лес от короткого возгласа невидимой птицы, и душа начинает петь свою песню, сочиняя ее из случайных нот. Ненадолго в какофонию звуков вмешался барабан — тревожный спутник циркача, сопровождающий опасные трюки. Опасность — вот стержень жизни, ее стойка с натянутой проволокой, по которой ты скользишь без балансира и страховки. Опасность, которую ты уверенно преодолеваешь...

В дверь заглянул Оскар, уже в костюме, в высоких серебряных сапогах.

— Ну что, Генрих? Ты готов?

— Почти.

— Тебе мешают волосы.

— Я уже понял. Забыл постричься.

— Ничего нельзя забывать в нашем деле, даже если очень хочется покрасоваться, — улынулся Оскар.

— Не волнуйся, батя. Тебе вредно волноваться.

— Что это вы все заладили: вредно, вредно? Нина пристаёт, и ты туда же. Мне вредно сидеть смиренно на заднице и ровно дышать. А работа даёт силы. Нинка говорит: бросай работу, — дура она, не понимает, что хорошо, что плохо.

— Твоя Нина все понимает, её надо слушаться, Оскар.

— Советуешь мне идти на покой?

— Ничего я не советую. Нашёл время обсуждать проблему пенсионного возраста! Нина-то придёт на представление?

— А как же? Сидит уже во втором ряду с Алешей.

Нина сидит во втором ряду, а Дианы, конечно, нет. Может, она и знает о представлении, афиши кругом, но её надо было *попросить*. Нет, просить он не умеет. Он никак не может выпихнуть эту девчонку из своей жизни, но просить не собирается. Однако то, что не дается добром, можно взять силой. Посмотрим... Совершенно ненужные сейчас, неважные сейчас мысли. Важнее, что по-прежнему болят плечо и рука и в мозгу медленно, но неуклонно разливается боль. Его особенность, его природный дар — какую киноленту из прошлого он намерен прокрутить? Или это весть из будущего? Взрыв боли — и тишина. Нет!

«Братья» Серебряные работали отлично, строили пирамиды с «мальчиком» на плечах, притворно падали, вызывая панику в зале, который тут же взрывался аплодисментами. Генрих стоял на мостике и ждал своего выхода. Наконец «братья» разместились с противоположной стороны, и Генрих без баланса и страховки начал свой блестящий путь. Он бегал, припадал к канату, делал стойку на руках и садился на шпагат, прыгал на одной ноге, описывая другой круги в воздухе. Это была прелюдия, так называемый «разогрев», за которым последовал главный трюк, придуманный им самим и отработанный до мелочей. Передние сальто, одно за другим по всей длине проволоки, — а в середине пути, во время кувырка, из рукавов, из-за пояса и ворота вылетела стая птиц и закружилась над ним, поднимаясь все выше и выше к куполу, а он балансировал, играя на выхваченной из воздуха флейте и пританцовывая на своей узкой танцплощадке, и снова выполнял переднее сальто, успевая помахать рукой улетающим в небо пернатым.

Зал ревел. Генрих не думал о том, что делает, номер был доведен до автоматизма. Эквилибрист творил свое дело, словно смотрел на себя из зрительного зала и понимал, как красиво то, что он делает, и как радостно доставлять радость другим. А главное, главное... В том ли счастье, чтобы возвыситься над жизнью внизу, и важно ли, что там внизу? Это временно. Постоянно то, что наверху, то, куда летят птицы, маня его за собой. И он полетел...

Он лежал на манеже, смутно видел склоненное над собой лицо Оскара и слышал его голос:

— Генрих, Генрих, не уходи, посмотри на меня, ты слышишь, Генрих?

Он шевельнул рукой, почувствовал боль и обрадовался — живой! И как хорошо: ясная голова, как будто никогда не гнезвился в ней его хищный *дар*, сплетник и предсказатель, по неведомой чьей-то воле разделявший с ним жизнь. Ясно и чисто. И хочется плакать.

— Не плачь, Генрих, не плачь, мой мальчик. Все обойдется, тебя починят, и вернешься в строй, работать с нами. Ты наш, цирковой, слышишь, Генрих? Ну, не будешь бегать по канату, так ты же классный фокусник. Таких фокусников, как ты, — поискать...

— Нет, — чуть слышно прошептал Генка-Гвоздь. — Только по канату... поднять еще на два метра... — он едва заметно улыбнулся и потерял сознание...

Одиночества символы, отзвуки дрожи души,
Вечный поиск спасения — в омуте нот и метафор...
Сколько лет белый парус по волнам туманным спешит,
На осеннем мольберте березы сбиваются в табор!
Стоит лишь захотеть, лишь царапнуть бумагу пером,
Или встать на пуанты на льду ненадежном обрыва,
Или втиснуть в гравюру в душе накопившийся гром,
Иль коня циркового поймать за воздушную гриву —
И свободен! Казалось, победы — на ломаный грош,
Словно выпил воды, выбивая зубами стаккато,
Но глотком этим жадным на миг усмиряется дрожь,
И включается в ритм дребезжащая хрупкость стакана.